

Стамбулдук
Жетпес
Туттештирив
с мочн тентуруков



APOM

ERIN

Грэм Грин.

Стамбульский экспресс

ЧАСТЬ I.

ОСТЕНДЕ

I

Пассажирский помощник капитана отобрал последний посадочный талон и стал наблюдать, как пассажиры пересекают мрачный, мокрый причал, шагая через множество железнодорожных путей и стрелок, огибая брошенные багажные тележки. Люди шли сгорбившись, подняв воротники пальто; на столиках за окнами длинных вагонов горели лампы, они светились сквозь пелену дождя, как нитка голубых бус. Гигантский кран то взметался вверх, то опускался, а стук лебедки на минуту перекрывал все заглушающий шум воды, воды, падающей с затянутого тучами неба, воды, льющейся о бока причала и о борт парома, курсирующего через Ла-Манш. Было половина пятого пополудни.

— Господи, весенний день называется, — вслух произнес пассажирский помощник, стараясь отвлечься от накопившегося за последние несколько часов раздражения из-за морской палубы, пара, и нефти, и запаха прокисшего пива, доносящегося из бара, шуршания черного шелка — это стюардесса сновала туда и сюда с оловянными тазами. Он взглянул вверх на стальные стрелы крана, на площадку и на маленькую фигуру в синем комбинезоне, поворачивающую огромное колесо, и испытал непривычную зависть. Крановщик там, наверху, был отделен тридцатью футами тумана и дождя от помощника, от пассажиров, от длинного, залитого светом экспресса. «Я не могу никуда скрыться от этих проклятых физиономий», — думал пассажирский помощник, вспоминая молодого еврея в тяжелом меховом пальто — он жаловался на то, что ему досталась двухместная каюта, и это всего на каких-то несчастных два часа.

— Не в ту сторону, мисс. Таможенный зал там, — сказал он последней пассажирке второго класса. Настроение у него немного улучшилось при виде приветливого юного личика — она-то ни на что не жаловалась. — Ваш саквояж, мисс. Не желаете ли носильщика?

— Пожалуй, нет. Я не понимаю, что они говорят. Он не тяжелый. — Губы ее сложились в улыбку над поднятым воротником дешевого белого плаща. — А может, вы не против поднести его... капитан? — Ее дерзость восхитила его.

— Ох, был бы я моложе, вам бы не потребовался носильщик. И до чего только люди доходят! — Он кивнул в сторону еврея, который вышел из таможенного зала и пробирался в своих черных замшевых ботинках между рельсами, за ним следовали два нагруженных багажом носильщика. — Далеко едете?

— До самого конца, — ответила она, печально скользя взором по рельсам, по грудам багажа,

по зажженным лампам вагона-ресторана к темным, ожидающим пассажиров вагона.

— В спальном едете?

— Нет.

— Надо бы взять спальный, как же так-то ехать всю дорогу? Три ночи в поезде. Не шутка. А зачем вы едете в Константинополь? Замуж выходите?

— Вроде бы нет. — Она засмеялась, несмотря на уныние, связанное с отъездом и страхом перед неизвестностью. — Никогда не знаешь, что будет, правда?

— На работу?

— Танцевать. В варьете.

Она попрощалась с ним и отошла. Плащ подчеркивал стройность ее фигуры. Девушка держалась прямо, даже когда, спотыкаясь, шла по путям мимо спальных вагонов. Семафор сменился с красного на зеленый, затем раздался длинный свисток, вырвалась струя отработанного пара. Ее лицо, некрасивое, но пикантное, ее манера держаться, дерзкая и в то же время исполненная печали, на миг задержалась в его сознании.

— Не забудьте меня! — прокричал он ей вслед. — Мы снова увидимся через пару месяцев.

Но он понимал, что сам-то он забудет о ней: в последующие недели слишком много лиц будут заглядывать к нему за барьер, требуя каюту, желая обменять деньги, получить койку. Не может он запоминать отдельных людей, да в ней и не было ничего примечательного.

Когда он поднялся на борт, палубы уже были вымыты для обратного рейса, и настроение у него улучшилось, как только он увидел, что на судне нет посторонних. Вот так бы всегда: несколько инострашек, которым отдаешь приказы на их языке, и стюардесса — с ней можно выпить стакан пива. Он поворчал на матросов по-французски, те усмехнулись в ответ, распевая неприличную песенку об одном обманутом муже, у которого от зависти немножко сник любовный пыл в семейной жизни.

— Трудный рейс, — сказал он по-английски старшему стюарду. Тот когда-то работал официантом в Лондоне, а пассажирский помощник без надобности никогда не произносил ни единого французского слова. — А этот еврей дал на чай щедро?

— Сколько вы думаете? Шесть франков.

— Его укачало?

— Нет. Вот пожилого типа с усами мутило всю дорогу. И давайте мне десять франков. Я выиграл пари. Он англичанин.

— Будет тебе. С таким-то акцентом! Как ножом ухо режет.

— Я видел его паспорт. Ричард Джон. Школьный учитель.

— Забавно, — сказал пассажирский помощник.

«Да, забавно», — подумал он снова, неохотно отдавая десять франков; перед мысленным взором возник усталый, седой человек в плаще, он отпрянул от паровозных поручней, когда подняли трап и сирены выпустили пар по направлению к разрыву в облаках. Он попросил газету, какую-нибудь вечернюю газету. «Они не выходят в Лондоне так рано», — сказал ему пассажирский помощник, и тот, услышав ответ, постоял в задумчивости, покручивая длинный

седой ус. Наливая стюардессе стакан пива, перед тем как начать просматривать счета, помощник снова вспомнил о школьном учителе, и в голове у него промелькнула мысль, что, может быть, мимо него прошел человек, переживший драму, изможденный и загнанный, замешанный в темные дела. Он тоже не предъявлял никаких претензий, поэтому о нем легче было забыть, чем о молодом еврее, о группе туристов агентства Кука, о женщине в лиловом, потерявшей кольцо, — ее все время рвало, — о старике, дважды заплатившем за койку. Про девушку он забыл полчаса назад. Именно это объединило ее с Ричардом Джоном; топот ног, запах нефти, мерцающие огни семафоров, озабоченные лица, звон стаканов, ряды цифр — все это заставило их потонуть в угрюмых мыслях пассажирского помощника.

Ветер стих на несколько секунд, и дым, который порывисто метался взад и вперед по причалу и по торчащим всюду металлическим конструкциям, на миг повис хлопьями между землей и небом. Эти хлопья напоминали пробиравшемуся по грязи Майетту серые шатры кочевников. Он забыл о том, что его замшевые ботинки вконец испорчены, что наглый таможенник придирался к двум его шелковым пижамам. Спасаясь от грубости этого человека, от его презрения, от бормотания «Juif, Juif»,^[1] он укрылся в тени этих огромных шатров. Здесь он на миг почувствовал себя свободно: сейчас, чтобы воспрянуть духом, ему не нужно было думать о своем меховом пальто, о костюме, сшитом на Сэвил-роуд, о своих деньгах, о положении дел в фирме.

Но когда он добрался до поезда, поднялся ветер, шатры из дыма развеялись, и он снова очутился в центре враждебного мира.

Однако Майетт с благодарностью подумал, что за деньги можно купить многое. За них не всегда можно купить учтивость, но быстроту они ему обеспечили. Он первым прошел через таможню и до прибытия остальных пассажиров постарается договориться с проводником об отдельном купе. Майетт терпеть не мог раздеваться в присутствии других людей, но понимал, что сделка эта обойдется ему дороже из-за того, что он еврей, — тут не ограничишься только просьбой и чаевыми. Он миновал освещенные окна вагона-ресторана; сиреневые тюльпанчики ламп сияли на столиках, покрытых к обеду белыми скатертями. «Остенде-Кёльн-Вена-Белград-Стамбул». Он прошел мимо этих названий, даже не взглянув на них, — путь был ему знаком; названия проплывали мимо на уровне его глаз, воскрешая в памяти минареты, шпили и купола в этих городах, где человеку его национальности нелегко было обосноваться.

Проводник, как он и предполагал, разговаривал грубо. «В поезде битком набито», — заявил он, хотя Майетт знал, что тот лжет. Апрель еще не сезон — слишком рано для переполненных вагонов, и на пароме он заметил всего несколько пассажиров первого класса. Пока Майетт спорил с проводником, по коридору стадом брели туристы: пожилые дамы крепко держали в руках шали, пледы и путеводители; старик священник жаловался, что забыл где-то журнал «Весь мир»: «Во время путешествия я всегда читаю «Весь мир»; а замыкал толпу потный, невозмутимый, несмотря на всякие сложности, гид со значком туристской фирмы. «Voilà»^[2]— сказал проводник, как бы подтверждая жестом, что его поезд тащит необычный, непосильный груз. Но Майетта не проведешь — он прекрасно знал этот маршрут. Группа туристов — он определил по их виду, что это неугомонные поклонники культуры, — направлялась в прицепной вагон, следующий до Афин. Когда он удвоил чаевые, проводник сдался и наклеил на окно купе табличку: «Забронировано». Со вздохом облегчения Майетт понял, что остается один.

Мимо проплывали физиономии, отделенные от него надежной стеклянной перегородкой. Даже меховое пальто не спасало его от холода и сырости, а когда он повернул ручку отопления, пар от его дыхания затуманил стеклянную перегородку; вскоре он стал смутно различать только отдельные черты проходящих: заглядывающий внутрь сердитый глаз,

лиловое шелковое платье, воротничок священника. Лишь однажды у него появилось желание нарушить свое растущее одиночество: он протер стекло ладонью и тут увидел стройную девушку в белом плаще, направляющуюся по коридору в сторону второго класса. Один раз дверь отворилась, и в купе заглянул пожилой мужчина. У него были седые усы, очки и поношенная мягкая шляпа. Майетт объяснил ему по-французски, что купе занято.

— Одно место, — сказал мужчина.

— Вы ищете второй класс? — спросил Майетт, но мужчина отрицательно покачал головой и ушел.

Мистер Оупи удобно уселся в своем углу и стал с любопытством, но несколько разочарованно разглядывать маленького бледного мужчину, сидевшего напротив. Наружность мужчины была удивительно заурядной, по цвету лица было видно, что здоровье у него плохое. «Нервы», — подумал мистер Оупи, наблюдая за его подергивающимися пальцами, но другого признака повышенной чувствительности в пальцах не замечалось — они были короткие, тупые и толстые.

— Я всегда думаю: если можно получить место в спальном вагоне, совсем необязательно ехать первым классом, — начал разговор мистер Оупи, стараясь угадать, очень ли ему не повезло со спутником, — эти вагоны второго класса удивительно удобны.

— Да... конечно... да, — с готовностью согласился мужчина, — Но как вы догадались, что я англичанин?

— У меня такая привычка, — ответил, улыбаясь, мистер Оупи, — я всегда думаю о людях только самое хорошее.

— Ну конечно, — сказал бледный мужчина, — вы как священник...

Мальчишки-газетчики призывно кричали снаружи, и мистер Оупи высунулся из окна.

— «Le Temps de Londres». Qu'est que c'est que ca? Rien du tout? «Le Matin» et un «Daily Mail». C'est bon. Merci.[3]

Этот французский напомнил его соседу бесконечные фразы, записанные в ученическом блокнотике, он произносил их со вкусом, но неверно.

— Combien est cela? Trois francs. Oh la-la![4]

— Давайте я буду вам переводить, — предложил он бледному мужчине. — Вы хотите какую-нибудь газету? Не стесняйтесь, если вам хочется «La Vie»...[5]

— Нет, ничего, ничего не нужно, спасибо. У меня есть книжка.

Мистер Оупи взглянул на свои часы:

— Через три минуты тронемся.

Несколько минут девушка опасалась, что заговорит или он, или длинная худая женщина, его жена. Помолчать некоторое время — вот чего она больше всего желала. «Если бы я могла позволить себе спальня вагон, — размышляла она, — была бы я там в купе одна?» В полутемном вагоне зажглись огни, и тучный мужчина заметил:

— Ну, теперь уж осталось недолго.

Воздух в купе был сырой и спертый. Мерцание фонаря за окном на миг напомнило ей что-то знакомое: электрическую рекламу, вспыхивающую и меняющуюся над входом в театр на Хай-стрит в Ноттингеме. Оживленная толпа, пробегающие носильщики и мальчишки-газетчики напомнили ей «гусиную ярмарку», она сосредоточилась на воспоминаниях о рынке, постаралась представить его в своем воображении: построила кирпичные здания, поставила ларьки, и видение стало таким же реальным, как омытый дождем причал и меняющиеся огни семафоров. Но тут мужчина заговорил с ней, и ей пришлось покинуть мир воображения и притвориться веселой и общительной.

— Ну, мисс, нам предстоит долгое путешествие вместе. Давайте познакомимся. Моя фамилия — Питерс, а это моя жена Эйми.

— Меня зовут Корал Маскер.

— Купи мне бутерброд, — умоляюще сказала женщина. — У меня так пусто в желудке, что я слышу, как там урчит.

— Не спросите ли вы, мисс? Я их тарабарского языка не понимаю.

«А почему вы думаете, что я понимаю? — хотелось ей крикнуть ему в ответ. — Я никогда не выезжала из Англии». Но она так высколила в себе привычку принимать на себя все обязанности, когда и в какой бы форме они ни сваливались на нее, что не стала протестовать, а открыла дверь, готовая бежать по темному, скользкому железнодорожному полотну в поисках того, чего он хотел, если бы взгляд ее не упал на часы.

— Не успею. Только одна минута до отхода.

Возвращаясь в купе, она обратила внимание на лицо и фигуру человека, стоявшего в конце коридора, — от сильного желания броситься к нему у нее перехватило дух; ей вспомнились последний слой пудры на нос, пожелание доброй ночи швейцару, молодой мужчина, ожидающий в темноте, коробка шоколада, автомобиль за углом, быстрая езда, осторожные, пугающие ее объятия. Но этот был ей незнаком, и мысли ее возвратились к тому ненужному, рискованному приключению в неизведанном мире, которое нельзя было охарактеризовать каким-нибудь искусно подобранным словом: никакая старательно рассчитанная ласка не могла рассеять приближающийся мрак неизвестности. Национальность мужчины, резкие, типичные черты лица и меховое пальто ввели ее в заблуждение.

«Отход задерживается», — подумал Майетт, выйдя в коридор. Он нащупал в кармане коробочку с изюмом, которую всегда держал там. Она состояла из четырех отделений, и его пальцы наугад выбрали одну изюмину, положив ягоду в рот, он на вкус оценил ее. «Низкое качество. Это «Стейн и компания». У них ягоды мелкие и сухие».

В конце коридора какая-то девушка в белом плаще повернулась и внимательно посмотрела на него. «Хорошая фигура, — подумал он. — Моя знакомая?» Выбрав другую ягоду, он, не глядя, положил ее в рот. «Вот это наша. «Майетт, Майетт и Пейдж». Держа ягоду под языком, он на миг почувствовал себя одним из сильных мира сего, вершителем судеб. «Эта — моя, и эта хорошая». По всему поезду захлопали двери. Раздался гудок.

Ричард Джон, подняв воротник плаща до самых ушей, высунулся из окна коридора и увидел, как склады стали отодвигаться назад, к лениво плескавшемуся морю. «Это конец, — подумал

он, — но это и начало». Вереница лиц уносилась прочь. Человек с киркой на плече взмахнул красным фонарем. Дым паровоза окутал его и закрыл фонарь. Заскрипели тормоза, облака рассеялись, и лучи заходящего солнца ударили по рельсам, по окну, по глазам. «Если бы я мог уснуть, — подумал он с тоской, — я бы тогда лучше вспомнил все то, что необходимо вспомнить».

Дверца топки отворилась, оттуда на миг вырвалось пламя и пахло жаром. Машинист полностью открыл регулятор, и пол под его ногами задрожал от тяжести состава. Теперь машина плавно заработала, машинист вновь закрыл дверцу топки; последние лучи солнца заблестели, когда поезд, выпуская струйки пара, проезжал вдоль морского берега через Брюгге. Закат осветил высокие мокрые стены, лужи на аллеях засверкали в изменчивом свете. Где-то поблизости, словно знаменитая драгоценность в выцветшем футляре, лежал древний город — слишком много он привлекал к себе внимания, вызывал разговоры, слишком много через него проезжало народу. Затем сквозь дым показалась бесконечная череда незастроенных участков, иногда монотонность нарушали высокие безобразные виллы, отделанные цветными плитками, с фасадами на все стороны, — сейчас их поглощала вечерняя мгла. Стали видны искры, летящие от паровоза, — они были похожи на сонмы сверкающих жуков, которых ночь соблазнила вылететь в небо, они падали и гасли около путей, касались листьев, кустиков, кочанов капусты и превращались в сажу. Какая-то девушка, правящая лошадью, запряженной в повозку, подняла лицо и засмеялась; на откосе около путей лежали в обнимку мужчина и женщина. Затем за окнами сгустилась тьма, и пассажиры стали видеть в стекле только смутное отражение собственных лиц.

II

«Premier Service, Premier Service».[6] Голос разносился по всему коридору, но Майетт уже уселся в вагоне-ресторане. Он хотел избежать опасности оказаться с кем-нибудь за столиком, не желал, чтобы его вызвали на вежливую откровенность, а может быть, и унизили. Константинополь, для многих пассажиров конечный пункт почти бесконечного путешествия, приближался к нему со скоростью пролетающих мимо, устремленных вверх телеграфных столбов. Когда путешествие закончится, раздумывать станет некогда — его будет ждать автомобиль, мимо пронесется вереница минаретов, потом грязная лестница и Экман, поднимающийся из-за письменного стола. Его ожидает всякая казуистика, цифры, контракты. Здесь, заранее, в вагоне-ресторане, на диване в купе, в коридоре, ему следует продумать каждое слово, отрепетировать все модуляции голоса. Он предпочел бы вести дела с англичанами или турками, а Экман и таинственный Стейн, скрывающийся где-то в тени, — его соплеменники, они научились улавливать смысл по тону голоса, по тому, как пальцы охватывают сигару.

По проходу шли официанты — разносили суп. Майетт засунул руку в нагрудный карман и снова принялся грызть изюминку, ягоду Стейна, мелкую и сухую, но, надо признаться, дешевую. Вечная и неизбежная борьба количества с качеством не приводила его раздумья ни к каким результатам. Привязанный к своей конторе в Лондоне, он встречался только с представителями Стейна и никогда с самим Стейном, в лучшем случае он слышал голос Стейна по междугородному телефону, потусторонний голос; интонации его ничего Майетту не прояснили, но он понимал, что Стейн «тонет». А на какой глубине? В открытом океане или у берега? Положение безнадежное или он просто вынужден прибегнуть к неприятной необходимости экономить? Дело решилось бы просто, если бы представителя фирмы «Майетт и Пейдж» в Константинополе, бесценного Экмана, не подозревали в запутанных

тайных сделках со Стейном — он балансировал на грани закона.

Майетт погрузил ложку в безвкусный суп-жюльен; он предпочитал блюда жирные, с разными специями, острые и сытные. Снаружи во тьме ничего не было видно, лишь иногда проскальзывал свет фонарей какой-нибудь маленькой станции или мелькал огонь в туннеле; постоянно виделось лишь смутное отражение его собственного лица и его руки, подобно рыбе, плавающей в светящейся воде и водорослях. Его немного раздражали эти видения, и он собрался было опустить штору, когда заметил за отражением своего лица того самого человека в поношенном плаще, который заглядывал в его купе. Его одежда, уже потерявшая цвет и добротную солидность, свойственную старомодным вещам, все же явно носила на себе печать элегантности: под распахнутым плащом виднелся высокий крахмальный воротничок и застегнутый на все пуговицы пиджак. «Этот человек терпеливо ожидает, когда ему подадут обед», — подумал сначала Майетт, разрешив своим мыслям немного отвлечься от всех перипетий, связанных со Стейном и Экманом, но, прежде чем официант дошел до незнакомца, тот заснул. На миг его лицо исчезло, огни станции превратили стены вагона из зеркал в окна, через которые стала видна толпа провинциалов с детьми, пакетами и плетеными сумками, ожидающая местного поезда. С возвращением темноты вновь появилось отражение лица, сонно клюющего носом.

Майетт забыл о нем, выбирая полусладкое бургундское шамбертен 1923 года: он собирался запивать им телятину, хотя и знал, что покупать здесь хорошее вино — пустая трата денег, ведь ни один букет не сохраняется при постоянной тряске. По всему вагону разносился жалобный вой и хныканье дрожащих бокалов — экспресс на всех парах несея к Кёльну. Прихлебывая из рюмки, Майетт снова подумал о Стейне: коварный или отчаявшийся, тот ожидает в Константинополе его приезда. Он продаст все свои акции по хорошей цене — Майетт был в этом уверен, — но поговаривают, что в борьбу вступает еще один покупатель. Вот тут-то и возникло подозрение, что Экман ведет двойную игру, стараясь взвинтить цену вопреки интересам своей фирмы; причиной, возможно, были пятнадцать процентов комиссионных, обещанных Стейном. Экман написал, что Моулт предлагает Стейну фантастическую цену за его акции и за передачу прав на фирму, но Майетт ему не поверил. Однажды он завтракал с молодым Моултом и в разговоре, как бы случайно, упомянул имя Стейна. Моулт не еврей, в нем нет ни тонкости, ни умения уклоняться; если он захочет солгать, то солжет, но ложь будет облечена в слова, при этом ему неизвестно, как кисть его собственной руки может изобличить ложь, прикрытую болтовней. Имея дело с англичанами, Майетт обнаружил, что вполне достаточно применять один трюк: обсуждая важную тему или задавая наводящий вопрос, он обычно предлагал сигару — если человек лжет, то, как бы быстро он ни ответил, рука его чуть-чуть задрожит. Майетт знал, что говорят о нем неевреи: «Мне не нравится этот еврей. Никогда не смотрит в глаза». — «Вы, болваны, — торжествовал он в душе, — мне известен трюк почище этого». Теперь он, например, уверен, что молодой Моулт не лгал, лгал Стейн или же Экман.

Он снова наполнил рюмку. «Любопытно, что именно я, мчащийся сейчас со скоростью шестьдесят миль в час, нахожусь, в сущности, в состоянии глубокого покоя по сравнению с Экманом — тот сейчас запирает письменный стол, берет с вешалки шляпу, спускается по лестнице, привычно покусывая своими острыми, торчащими вперед зубами краешек телеграммы, полученной от фирмы: «Мистер Карлтон Майетт прибывает Стамбул 14-го. Организуйте свидание Стейном». В поезде, как бы быстро он ни шел, все пассажиры находятся в состоянии покоя: между стеклянными стенами бесполезно предаваться эмоциям, бесполезно заниматься какой-либо деятельностью, кроме умственной, — эту деятельность можешь продолжать, не боясь, что ее прервут. Жизнь атакует сейчас Экмана и Стейна со всех сторон: прибывают телеграммы, какие-то люди своими разговорами прерывают ход их мыслей; женщины устраивают званые обеды. А в несущемся, грохочущем экспрессе шум так монотонен, что воспринимается как тишина, движение так непрерывно, что постепенно сознание начинает воспринимать его как неподвижность. В поезде невозможны никакие

действия. «За три дня в поезде я обдумаю все свои планы, к концу этого срока я уже стану совершенно ясно представлять себе, как поступить со Стейном и с Экманом».

Доев мороженое и десерт, заплатив по счету и задержавшись у своего столика, чтобы закурить сигару, он оказался лицом к лицу с тем незнакомцем и снова увидел, как тот засыпает между вторым и третьим блюдами между убранной недоеденной телятиной «по-талеирански» и поданным пудингом мороженым, — скорее всего, у него наступил полный упадок сил.

Под взглядом Майетта незнакомец вдруг проснулся.

— Слушаю вас, — произнес он.

— Я не хотел вас будить, — сказал Майетт извиняющимся тоном.

Мужчина подозрительно разглядывал его, и что-то в этом внезапном переходе от сна к более привычному состоянию настороженности, что-то в его респектабельном костюме, скрытом под поношенным плащом, пробудило в Майетте чувство жалости. Он заговорил об их первой встрече.

— Вы устроились в каком-нибудь купе?

— Да.

— Я подумал, может быть, у вас бессонница, — вырвалось у Майетта. — У меня в саквояже есть аспирин. Могу я предложить вам несколько таблеток?

— У меня есть все необходимое. Я врач, — резко ответил мужчина.

По привычке Майетт наблюдал за его руками, тонкими, костистыми. Он снова извинился — с несколько подчеркнутым смирением он склонил голову, как бы заслужив порицание.

— Простите, что потревожил вас. Мне показалось, что вы больны. Если я могу быть чем-нибудь вам полезен...

— Нет. Ничем. Ничем. — Но когда Майетт отошел, мужчина повернулся и сказал ему вслед: — Время. Скажите мне точное время.

— Без двадцати девять. Нет, без восемнадцати. — И увидел, как пальцы мужчины поставили стрелки часов с точностью до минуты.

Когда он вернулся в свое купе, поезд замедлил ход. Огромные доменные печи Льежа возвышались вдоль железнодорожного полотна, подобно древним замкам, охваченным пожаром во время вражеского набега. Поезд накренился, застучали стрелки. По обеим сторонам возникли стальные фермы моста, очень глубоко внизу по диагонали уходила в темноту пустынная улица, над входом в кафе горел фонарь, рельсы разбежались в разные стороны, и к экспрессу, гудя и изрыгая пар, приблизились маневровые паровозы. Семафоры залили спальные вагоны зеленым светом, и арка вокзальной крыши поднялась над вагоном Майетта. Кричали мальчишки-газетчики, на платформе стояли в ряд чопорные, степенные мужчины в черных суконных пальто и женщины под черными вуалями. Бесстрастно, подобно группе посторонних, пришедших на похороны ради приличия, они следили за проходящими мимо спальными вагонами первого класса: «Остенде — Кёльн — Вена — Белград — Стамбул», за прицепным вагоном до Афин. Затем, с вязаными сумками и детьми, они забрались в последние вагоны, которые шли, вероятно, до Попиньера или Вервье — миль пятнадцать по железной дороге.

Майетт был утомлен. Накануне он сидел до часу ночи, обсуждая с отцом, Джейкобом

Майеттом, дела Стейна, и, когда он увидел, как трясется седая борода отца, ему стало ясно, как никогда прежде, что дела выскальзывают из охвативших стакан с теплым молоком старых пальцев, украшенных кольцами. «Пенку никогда не снимут», — жаловался Джейкоб Майетт, разрешая сыну ложкой снять пенку с молока. Теперь он многое разрешал делать сыну, а Пейдж в расчет не принимался — кресло директора было просто наградой за его двадцатилетнюю верную службу на посту старшего клерка. «Майетт, Майетт и Пейдж» — это я», — без всякого трепета думал он о легшей на него ответственности; он был первенцем, и по закону природы отцу приходится передавать власть сыну.

Вчера вечером у них возникли разногласия относительно Экмана. Джейкоб Майетт был уверен, что Стейн обманул Экмана, а его сын считал, что их агент заодно со Стейном. «Вот увидите», — говорил он, убежденный в собственной проницательности, но Джейкоб Майетт все время повторял: «Экман умен. Нам необходим там умный человек».

Майетт знал, что не стоит укладываться спать до границы в Герберштале. Он достал расчеты, предложенные Экманом в качестве основы для переговоров со Стейном: величина основного капитала, находящегося в одних руках, стоимость передачи прав на фирму, сумма, которую, по его предположению, пообещал Стейну другой покупатель. Правда, Экман в своем пространном сообщении не назвал имени Моулта, он только намекнул на него, чтобы иметь возможность от этого отказаться. Моулты до сих пор никогда не проявляли интереса к изюму, только раз они недолго поиграли на рынке сбыта фиников. Майетт думал: «Не могу положиться на эти цифры. Дело Стейна представляет для нас большую ценность, даже если бы мы потопили в Босфоре его акции; нам важно получить монополию, а для всякой другой фирмы это было бы приобретением убыточного дела, которое обанкротилось из-за конкуренции с нами».

Цифры словно в тумане поплыли у него перед глазами, он стал засыпать. Единицы, семерки, десятки превратились в мелкие острые зубы Экмана; шестерки, пятерки, тройки, словно в фильме с фокусами, превращались в черные, маслянистые глаза Экмана. Комиссионные вознаграждения в виде цветных воздушных шаров лежали вдоль вагона, размеры их все увеличивались, и Майетт искал булавку, чтобы проколоть их один за другим. Он окончательно проснулся от звука шагов — кто-то ходил взад и вперед по коридору. «Бедняга», — подумал он, увидев, как коричневый плащ и сцепленные за спиной руки исчезли, миновав окно.

Но жалости к Экману Майетт не испытывал, мысленно он следовал за ним из конторы в квартиру в современном доме, в сверкающую уборную, в серебряную с позолотой ванную комнату, в залитую светом, полную ярких подушек гостиную, где сидит его жена, — она беспрестанно шьет курточки, штанишки, чепчики и вяжет носочки для англиканской миссии: Экман — христианин.

Вдоль железной дороги ярким пламенем горели доменные печи. Их жар не проникал сквозь стеклянную стену. Было страшно холодно, апрельская ночь напоминала старомодную рождественскую открытку, сверкающую от инея. Майетт снял с крючка меховое пальто и вышел в коридор. Стоянка в Кельне продолжается почти сорок пять минут — достаточно времени, чтобы выпить чашку горячего кофе или рюмку коньяку. А до этого он, как и человек в плаще, может походить по коридору.

Пока внешний мир не отвлекал его внимание, он знал, что в прогулке по коридору до уборной и обратно его будут незримо сопровождать Экман и Стейн. «У Экмана, — думал он, пытаюсь обмыть горячей водой грязный умывальник, — к унитазу цепочкой прикована Библия». Так ему, по крайней мере, говорили. «Большая, потрепанная и очень «семейная» среди серебряных с позолотой кранов и пробок, и эта Библия сообщала каждому человеку, обедающему в доме Экмана, что хозяин — христианин». Не было нужды в скрытых намеках на посещение церкви, на посольского священника, достаточно было его жене спросить: «Не

хотите ли помыть руки, дорогая?» — или ему самому дружески задать тот же вопрос мужчинам после кофе с коньяком. А вот о Стейне Майетт не знал ничего.

— Как жаль, что вы не выходите в Буде, раз вы так интересуетесь крикетом. Я пытаюсь, ох, с большим напряжением собрать две команды по одиннадцать игроков в посольстве. — Человек с лицом таким же гладким, белым и невыразительным, как его воротничок священника, говорил, кивая головой и размахивая руками, маленькому, похожему на крысу мужчине, который, сгорбившись, сидел напротив.

Когда Майетт проходил мимо купе, до него долетел этот голос — он разносился по коридору, но стеклянная перегородка лишала его выразительности. Это был лишь отзвук голоса, он снова напомнил Майетту о Стейне, разговаривавшем по проводам длиной в две тысячи миль, о том голосе, который говорил, что когда-нибудь удостоится чести принимать мистера Карлтона Майетта в Константинополе, о голосе приятном, радушном и невыразительном.

Он проходил мимо купе с сидячими местами в вагоне второго класса; мужчины, сняв жилеты, спали развалясь на скамейках, щеки их были небриты, на головах у женщин — выцветшие вязаные сетки, совсем такие же, как вязаные мешки на полках; они подоткнули под себя юбки и застыли на лавках в нелепых позах: полные груди и тощие бедра, тощие груди и полные бедра — все безнадежно перемешалось. Высокая худая женщина проснулась на миг и жалобно произнесла: «Это пиво, которое ты купил, — просто ужас. Не могу сладить с животом». На лавке напротив сидел ее муж; улыбаясь, он следил за выражением ее полузакрытых глаз; одной рукой он потирал небритую щеку, искоса поглядывая на девушку в белом плаще, лежащую на скамейке, — ноги ее находились около другой его руки. Майетт помедлил и зажег сигарету. Ему нравились стройная фигура и лицо девушки, слегка подкрашенные губы делали миловидной ее заурядную внешность. Она не была совсем уж некрасивой: тонкие черты лица, форма головы, носа и ушей придавали ей какую-то неожиданную изысканность, веселую привлекательность, напоминающую рождественскую витрину деревенской лавочки, полную блеском и немудреных пестрых сувениров. Майетт вспомнил, как она пристально смотрела на него из другого конца коридора, и у него мелькнула мысль: кого он ей напомнил? Он был признателен ей за то, что в ее взгляде не было неприязни, она не догадалась, как неловко он себя чувствует в своей самой шикарной одежде, какую только можно купить за деньги.

Мужчина, сидевший рядом с девушкой, украдкой положил ей руку на лодыжку и стал очень медленно передвигать ее к колену. В то же время он следил за женой. Девушка проснулась и открыла глаза. Майетт услышал, как она сказала: «Очень холодно», и догадался по ее светскому, с оттенком настороженности, любезному тону — она заметила только что отдернутую руку. Потом она подняла глаза и увидела, что Майетт наблюдает за ней. Девушка была тактична, терпелива, но, по мнению Майетта, ей недоставало хитрости; он понимал, что она взвешивает в уме его качества и сравнивает его со своим спутником, как бы прикидывая, чье общество было бы для нее менее несносным. «Неприятности мне ни к чему» — так выразила бы она свои мысли, и его привели в восторг ее смелость, сообразительность и решимость.

— Пожалуй, пойду выкурю сигарету, — сказала девушка, роясь в сумочке в поисках пачки. Затем она оказалась рядом с ним.

— Спичку?

— Спасибо. — И, отодвинувшись, чтобы их не было видно из купе, оба стали вглядываться в приглушенную тьму.

— Мне не нравится ваш спутник.

— Выбирать ведь не приходится. Не так уж он и плох. Его имя — Питерс.

Майетт секунду помедлил.

— А мое — Майетт.

— Забавное имя. Мое — Корал. Корал Маскер.

— Танцуете?

— Точно.

— Американка?

— Нет. Почему вы так подумали?

— Что-то в вашем разговоре. Немного похоже на их акцент. Были там когда-нибудь?

— Была ли я там? Конечно, была. Шесть представлений в неделю и два утренника. Сад Загородного клуба, Лонг-Айленд, Палм-Бич, Клуб холостяков на Риверсайд-Драйв. Знаете, если не говорить, как американцы, ни за что не попадешь ни в какую английскую музыкальную комедию.

— Вы умница, — произнес Майетт серьезным тоном, перестав думать об Экмане и Стейне.

— Давайте походим, — предложила девушка, — я замерзла.

— Вам не спится?

— Не могу заснуть после переезда через Канал. Очень уж холодно, да еще этот тип все время лапает мои ноги.

— Почему вы не дадите ему по физиономии?

— Мы ведь еще и Кёльна не проехали? Зачем мне затевать скандал? Нам нужно просуществовать вместе до Будапешта.

— Это туда вы едете?

— Он туда едет. Я еду до конца.

— Я тоже. По делам.

— Ну, оба мы едем не ради удовольствия, правда? — сказала она, помрачнев. — Я видела вас при отходе поезда. Мне показалось, что вы один из моих знакомых.

— Кого вы имеете в виду?

— Откуда мне знать? Я не стремлюсь запоминать, как мои знакомые себя называют. На почте их знают под другим именем.

Майетт почувствовал какое-то спокойствие и решимость в этом ее безропотном приятии обмана. Девушка прижалась к окну лицом, слегка посиневшим от холода; она была похожа на мальчишку, с жадностью рассматривающего товары в магазине: складные ножи, игрушки с секретом, опрокидывающиеся тарелки, бомбы, распространяющие зловоние, булочки, которые пищат, — но она видела только тьму и их собственные лица.

— Вы думаете, будет теплее, как только мы попадем на юг? — спросила она, словно считала, что направляется в места с тропическим климатом.

— Мы не так уж далеко едем и вряд ли почувствуем большую разницу. Я помню, как в Константинополе в апреле шел снег. Вдоль Босфора дуют ветры с Черного моря. Они завихряются вокруг углов. А весь город — это углы.

— Надеюсь, в гримерных тепло. На сцене на тебе так мало надето, что от холода не спастись. Хорошо бы выпить чего-нибудь горячего! — Она согнула колени и прижалась к окну побледневшим лицом. — Мы подъезжаем к Кёльну. Как по-немецки «кофе»?

Выражение ее лица встревожило Майетта. Он пробежал вдоль коридора и закрыл единственное открытое окно.

— Вы хорошо себя чувствуете?

Она ответила медленно, глаза ее были полужакрыты:

— Теперь лучше. Вы закрыли окно, и стало душно. Но сейчас мне совсем тепло. Дотроньтесь до меня. — Корал подняла руку, он коснулся ею своей щеки, и его поразило, какая она горячая.

— Послушайте, возвращайтесь в свое купе, а я постараюсь достать для вас коньяку. Вы больны.

— Все дело в том, что я не могу согреться. Мне было жарко, а сейчас снова холодно. Я не хочу возвращаться туда. Останусь здесь.

— Возьмите-ка мое пальто, — нехотя сказал Майетт, но не успел он ограничить это сделанное против воли предложение словами вроде «на время» или «пока не согреетесь», как она соскользнула на пол.

Он взял ее руки стал растирать, с беспомощной тревогой наблюдая за ее лицом. И внезапно ощутил, что ему необходимо помочь ей. Следить, как она танцует на сцене, или поджидать ее на ярко освещенной улице у служебного входа — там это было бы проявлением чисто физических чувств, но здесь, в коридоре вагона, под мутной качающейся лампочкой, беспомощная и больная, с содрогающимся в такт ходу поезда телом, девушка пробуждала в нем мучительную жалость. Она не жаловалась на холод, а просто упомянула о нем как о неизбежном зле. И, внезапно прозрев, он понял, из какого бесчисленного количества неизбежных зол состоит ее жизнь. Тут он услышал размеренные шаги — он уже раньше заметил, что незнакомец ходит взад и вперед по коридору мимо своего купе, — и пошел ему навстречу.

— Вы ведь врач? Здесь девушка упала в обморок.

Незнакомец остановился и спросил недовольным тоном:

— Где она?

Посмотрев через его плечо, незнакомец увидел девушку. Его нерешительность разозлила Майетта.

— Похоже, ей совсем плохо, — настаивал он.

Доктор вздохнул:

— Ну хорошо.

Казалось, он подбадривает себя перед каким-то испытанием. Но страх его, видимо, прошел, когда он опустился на колени возле девушки. Он обращался с ней мягко — это была

безличная мягкость, присущая опытным врачам. Послушал ее сердце, а затем поднял ей веки. Девушка пришла в себя, но в сознании ее все перемешалось. Ей показалось, что это она склоняется над незнакомцем с длинными, неровно подстриженными усами. Она почувствовала жалость к нему, заметив беспокойство на его лице, — он был опытный врач, — но ее тревога улеглась, стоило ей поймать его успокаивающий взгляд. Положив руку на его лицо, она подумала: «Он болен» — и на секунду отбросила мысль о том, как странно падают тени, а лампочка светит с пола.

— Кто вы? — спросила девушка, стараясь припомнить, как это случилось, что ей пришлось прийти ему на помощь. «В жизни не видела, чтобы кто-нибудь так нуждался в помощи», — подумала она.

— Врач.

Корал с недоумением взглянула на него, и тут все прояснилось: это она лежит в коридоре, а незнакомец склоняется над ней.

— Я упала в обморок? Было так холодно.

Она ясно ощутила, как медленно, тяжело движется поезд. Сквозь окна потоки света скользили по лицу доктора и освещали стоявшего за ним молодого мужчину. «Майетт. Мяс». Она беззвучно рассмеялась, вдруг успокоившись. Казалось, на мгновение она переложила на другого всю ответственность за происходящее. Поезд, вздрогнув, остановился, и Майетта отбросило к стенке. Доктор не шелохнулся, если его и покачивало, то только в такт с движением поезда. Он всматривался в лицо девушки, пальцем проверяя пульс, и наблюдал за ней с волнением, едва сдерживая слова, но она понимала, что чувства эти не относятся к ней и он не видит в ней ничего привлекательного. Она мысленно выразила это такими словами: «Будь у меня ноги даже как у Мистангетт, он бы и не заметил».

— Что со мной? — спросила она, но из-за громких голосов, доносившихся с платформы, и вошедших в вагон людей в синей форме она не расслышала ничего, кроме «... это моя настоящая работа».

— Приготовьте паспорта и багаж, — приказал голос с иностранным акцентом.

Майетт попросил у нее сумочку.

— Я присмотрю за вашими вещами.

Она отдала ему сумочку и с помощью доктора села на откидное сиденье у стенки.

— Паспорт?

Доктор отвечал медленно, и она впервые обратила внимание на его акцент.

— Мои вещи в первом классе. Я не могу оставить эту даму. Я врач.

— Английский паспорт?

— Да.

— Хорошо.

К ним подошел еще один таможенник:

— Багаж?

— Предъявлять таможене нечего.

Таможенник пошел дальше.

Корал Маскер улыбнулась:

— Это и есть граница? Ну, тут можно провезти контрабандой что угодно. Багаж совсем не осматривают.

— Что угодно с английским паспортом, — сказал доктор, следя за тем, как таможенник скрылся из вида; он не проронил больше ни слова, пока не вернулся Майетт.

— Я, пожалуй, могу теперь вернуться в свое купе, — сказала она.

— Вы в спальном?

— Нет.

— Вы выходите в Кёльне?

— Я еду до конца.

Он дал ей тот же совет, что и пассажирский помощник:

— Вам следовало бы ехать в спальном.

Бесполезность этого совета рассердила ее и заставила на минуту забыть о сочувствии к его возрасту и озабоченности.

— Разве я могу ехать в спальном? Я танцую в кордебалете.

Он взглянул на нее глазами, полными невыразимой горечи:

— Ну конечно. Таких денег у вас нет.

— Что же мне делать? Я больна?

— Разве я могу давать вам советы? Будь вы богаты, я должен был бы сказать: устройте себе отпуск на шесть месяцев, поезжайте в Северную Африку. Вы потеряли сознание из-за тяжелого переезда через Канал, из-за холода. Я, разумеется, могу вам все это сказать, но какая от этого польза? У вас больное сердце. Вы годами его перегружали.

Слегка напуганная, она умоляюще спросила его:

— Ну и что же мне делать?

Он развел руками:

— Ничего. Живите, как жили. Старайтесь по возможности больше отдыхать. Не переохлаждайтесь. Вы слишком легко одеты.

Раздался свисток, и поезд, покачиваясь, тронулся. Станционные лампы поплыли мимо них и исчезли во тьме; доктор, уходя, повернулся к ней:

— Если я снова вам понадоблюсь, я в третьем вагоне от паровоза. Моя фамилия — Джон. Доктор Джон.

— А меня зовут Корал Маскер, — произнесла она с робкой учтивостью.

Он слегка поклонился, церемонно, как кланяются иностранцы, и зашагал прочь. Она запомнила его глаза, уже затуманившиеся отчужденностью, словно осенним дождем. Никогда

раньше она не сталкивалась с тем, чтобы о ней так мгновенно забывали. «Эту девушку мужчины быстро забывают», — пропела она тихонько, чтобы приободриться.

Но шаги доктора были еще слышны, когда его остановили. Ступая тихо и осторожно вдоль качающегося коридора, держась рукой за поручни, появился какой-то бледный человечек. Корал расслышала, как он обратился к доктору:

— Что-то случилось? Моя помощь нужна? — Он был на целый фут ниже доктора, и она громко рассмеялась, видя, как жадно он вглядывается тому в лицо запрокинув голову. — Не думайте, что я из любопытства, — говорил он, схватив доктора за рукав, — но священник в моем купе решил: кому-то стало плохо. Я сказал, что пойду и всю выясню, — с энтузиазмом добавил он.

Корал уже раньше поняла: доктор предпочитает прогулку взад и вперед по пустынному коридору сидению вместе с другими пассажирами в купе. Теперь, не по собственной воле, он оказался среди людей; вопросы и просьбы звучали у него в ушах, словно какое-то картавое бормотанье. Она ожидала, что доктор взорвется, с проклятьями отчитает этого типа и тот, трепеща, уберется в конец коридора. Но доктор ответил ему очень мягко, и это ее поразило.

— Вы сказали — католический священник?

— Нет, нет, — принялся оправдываться человечек. — Я еще не знаю, какого он вероисповедания, к какой церкви принадлежит. А в чем дело? Кто-то умирает?

Доктор Джон, видимо, понял, что эти слова ее напугали, и крикнул ей что-то успокоительное из конца коридора, а потом проскользнул мимо задерживающей его руки. Маленький мужчина на какой-то момент остался счастливым хозяином положения. Безмерно наслаждаясь этим, он подошел к девушке и спросил:

— Что тут происходит?

Она даже не взглянула на него, а обратилась к тому единственному благожелательно настроенному человеку, который остался возле нее:

— Я ведь не настолько больна?

— Что меня заинтересовало, так это его акцент, — продолжал незнакомец. — Сразу становится ясно, что он иностранец, однако он назвал какое-то английское имя. Я, пожалуй, пойду и поговорю с ним.

Сознание ее окончательно прояснилось с того момента, как она начала приходить в себя; вид перевернувшегося мира, где она склонялась над лежащим доктором, нуждавшемся в ее сочувствии и заботе, резко изменил ее представление о жизни.

— Не беспокойте его, — попросила она незнакомца, но было поздно: тот уже бросился прочь и не расслышал ее.

— А каково ваше мнение? — спросил Майетт. — Думаете, он прав? Здесь какая-то тайна?

— У всех у нас есть свои тайны.

— Может, он скрывается от полиции?

— Он хороший, — произнесла она, совершенно убежденная в своей правоте. Майетт согласился — это давало возможность выкинуть из головы мысли о докторе.

— Вам необходимо лечь и постараться заснуть. — Но ему не нужен был ее уклончивый ответ:

«Как я могу заснуть при той женщине с ее животом». Он тут же вспомнил о мистере Питерсе, забившемся в свой угол, ожидая, когда она возвратится, чтобы возобновить даровое и не вызывающее никаких осложнений невинное удовлетворение желаний. — Вы должны пойти в мой вагон.

— Как? В первый класс?

То, что она не верила ему, хотя и очень этого желала, определило для Майетта все. Он решил сделать широкий жест на восточный манер — преподнести дорогой подарок, не требуя и не желая ничего взамен. Людей его национальности по традиции упрекают в скаредности, а он докажет одной из христианок, как это незаслуженно. Сорок лет в пустыне, вдали от Египта, жившего на широкую ногу, выработали у его предков суровую привычку — несколько фиников и немного воды. Да и тысячелетие, прожитое в пустыне христианского мира, где для безопасности приходилось прятать свои сокровища, не приучило к широким жестам; но мир менялся, пустыня зацветала, там и тут, в укромных уголках, вроде Западной Европы, еврей мог проявить иное качество, такое же, как у араба, — качество царственно щедрого хозяина, который омоет ноги нищего и накормит его со своей тарелки; иногда он может из врага богатых христиан превратиться в друга любого бедного, который именем господина просит пристанища. Грохот поезда постепенно утих в его голове, свет в глазах померк, когда он для удовлетворения чувства собственного достоинства построил в оазисе палатку и вырыл в пустыне колодец. Он широко развел перед девушкой руки:

— Да, вам нужно поспать там. Я договорюсь с проводником. И мое пальто — вы должны его взять. Оно вас согреет. В Кёльне я достану вам кофе, а сейчас вам лучше всего поспать.

— Но я не могу. А вы где будете спать?

— Найду где-нибудь место. Поезд не заполнен.

Корал снова почувствовала беспредельный прилив нежности, но сейчас она не пугала ее, — казалось, ее подхватила волна, и случилось это недалеко от берега, и даже если она испугается, то сможет встать ногами на песчаное дно, и без всяких усилий с ее стороны волна понесет ее, куда она хочет. — в постель, голову на подушку, покрыться чем-нибудь и заснуть. У нее возникло чувство, что доброта пришла к Майетту вместе с доверием, что он перестал извиняться и что-то доказывать, а просто превратился в олицетворение добра.

Майетт не пошел искать проводника, а приткнулся на откидном сиденье в коридоре, скрестил на груди руки и приготовился поспать. Но без пальто он очень озяб. Хотя все окна в коридоре были закрыты, дуло из хлопающей двери, ведущей в переход между вагонами. Да и шум поезда был недостаточно монотонным, он нарушал тишину. Между Гербершталем и Кёльном было множество туннелей, в каждом из них рев паровоза усиливался. Майетт спал беспокойно: стремительный напор выпущенного пара и сквозняк, дувший в лицо, нагнали на него странный сон. Коридор превратился в Спаниердз-роуд, окаймленную вереском по обеим сторонам. Исаак медленно вез его в своем «бентли», они разглядывали лица девушек, гулявших парами по освещенной фонарями восточной стороне, — это были продавщицы, нагло предлагавшие себя в обмен на выпивку в гостинице, на быструю езду в автомобиле и на возможность позабавиться; на другой стороне дороги в полумраке на нескольких скамьях сидели проститутки, обрюзгшие, потрепанные и старые; они повернулись спинами к песчаным откосам и кустам вереска, ожидая какого-нибудь немого и слепого мужчину, достаточно дряхлого, чтобы предложить им десять шиллингов.

У фонаря Исаак притормозил «бентли». Их мало интересовали проплывающие мимо безымянные, молодые, красивые, чувственные лица. Исааку хотелось пухленькую блондинку, а Майетту — тоненькую брюнетку, но подцепить таких было нелегко: вдоль восточной стороны тянулась вереница машин их соперников, а девушки курили и посмеивались,

прислонившись к открытым дверям; на другой стороне дороги терпеливо вела наблюдение одна-единственная двухместная машина. Майетта раздражали бескомпромиссные притязания Исаака; в «бентли» было холодно, в лицо дул сквозняк, и тут, увидев, что мимо проходит Корал Маскер, он выскочил из машины, предложил ей сначала сигарету, потом выпить и, наконец, поездку в машине. «Те девушки обладают одним достоинством, — думал Майетт, — всем им известно, что означает поездка в машине, и, если твоя внешность им не понравится, они просто заявляют, что им пора домой». Но Корал Маскер хочет прокатиться в машине, она выбирает его себе в спутники и скрывается с ним во тьме автомобиля. Фонари, гостиницы, дома остаются позади, потянулись деревья, освещенные зеленым светом фар, словно силуэты, вырезанные из бумаги, затем появляются кусты с ароматом мокрых листьев, сохранивших влагу утреннего дождя, а потом короткое животное наслаждение в соломе. Ну а Исаак, пусть он довольствуется своей спутницей, хоть и темноволосой, но полной, легко одетой девицей с огромным носом и выпирающими вперед острыми зубами.

Однако, усевшись рядом с Исааком на переднем сиденье, девица поворачивается к нему, одаряет его ослепительной улыбкой и говорит: «Я забыла дома визитную карточку, но мое имя — Стейн». Затем, подхваченный сильным ветром, он взбирается по огромной лестнице с серебряными с позолотой перилами, а девица стоит наверху, у нее усики; она указывает ему на женщину, которая занята бесконечным шитьем, и кричит: «Познакомьтесь с мистером Экманом!»

Корал Маскер вдруг протестующе откинула рукой одеяло; она продолжала танцевать в ослепительном свете прожектора, а режиссер бил ее тростью по голым ногам, приговаривая, что танцует она плохо, что опоздала на месяц и нарушила контракт. Она же все танцевала, танцевала и танцевала, не обращая на него внимания, а он все бил ее тростью по ногам.

Миссис Питерс повернула голову и сказала мужу:

— Это пиво. Мой живот никак не утихомирится Он так урчит. Не могу спать.

Мистеру Оупи снилось, что на нем надет стихарь, а он с битой для крикета под мышкой и перчаткой, висящей на запястье, одолевает пролет огромной мраморной лестницы, ведущей в божью обитель.

Доктор Джон, заснувший наконец с горькой таблеткой, растворяющейся под языком, вдруг заговорил по-немецки. У него не было спального места, и он сидел выпрямившись в углу купе, когда услышал, как снаружи начало звучать медленное, певучее:

«Кёльн, Кёльн, Кёльн».

ЧАСТЬ II.

КЁЛЬН

I

— Ну, конечно, дорогая, я не против того, что ты пьяна, — сказала Джанет Пардоу. Часы на башне кёльнского вокзала пробили один раз, и официант на террасе «Эксцельсиора» начал гасить огни. — Подожди, дорогая, дай-ка я приведу в порядок твой галстук. — Она

наклонилась через столик и поправила галстук Мейбл Уоррен.

— Мы живем вместе три года, — низким, унылым голосом запричитала мисс Уоррен, — и я никогда не говорила с тобой резким тоном.

Джанет Пардоу слегка подушилась за ушами.

— Ради господ, дорогая, взгляни на часы. Поезд отходит через полчаса, мне нужно получить багаж, а тебе — взять интервью. Прошу тебя, допивай джин, и пошли.

Мейбл Уоррен взяла свой стакан и выпила джин. Затем она поднялась со стула, и ее мощное тело слегка покачнулось; на ней был галстук, крахмальный воротничок и спортивного покроя костюм из твида. Брови у нее были темные, глаза карие и решительные, они покраснели от слез.

— Ты же знаешь, почему я пью, — запротестовала она.

— Ерунда, дорогая. — Джанет Пардоу заглянула в зеркало пудреницы, чтобы окончательно убедиться, что с ее внешностью все, до мелочей, в порядке. — Ты пила задолго до того, как встретила меня. Соблюдай хоть немножко чувство меры. Я ведь уезжаю всего на неделю.

— Уж эти мне мужчины, — мрачно сказала мисс Уоррен, а затем, когда Джанет Пардоу поднялась, собираясь перейти через площадь, она с необычайной силой схватила ее за руку. — Пообещай мне, что будешь осмотрительной. Если бы я могла поехать с тобой! — У самого входа в вокзал она споткнулась в луже. — Ох, посмотри, что я наделала! Вот неуклюжая колода! Забрызгать твой красивый новый костюм! — Большой, грубой рукой, украшенной перстнем с печаткой на мизинце, она принялась чистить юбку Джанет Пардоу.

— Ох, ради бога, перестань, Мейбл.

Настроение мисс Уоррен изменилось. Она выпрямилась и преградила Джанет дорогу:

— Ты говоришь, я пьяная? Я пьяная. Но я напьюсь еще больше.

— Ох, перестань!

— Ты выпьешь со мной еще один стаканчик, или я не пушу тебя на платформу.

Джанет Пардоу уступила:

— Один, только один, помни.

Она провела Мейбл Уоррен через просторный, сверкающий, черный вестибюль в комнату, где несколько нетерпеливых мужчин и женщин торопливо хватали чашки кофе.

— Еще один джин, — попросила мисс Уоррен, и Джанет заказала для нее джин.

В зеркале на противоположной стене мисс Уоррен увидела свое отражение: багрово-красная, волосы взъерошены, очень противная, а рядом с ней другое, такое близкое существо — стройное, темноволосое, прекрасное. «Что я для нее значу? — с унынием, свойственным пьяницам, думала она. — Я ее сотворила. Я соержу ее, — продолжала она думать с горечью: — Я плачу заранее. Все, что на ней надето, оплачено мной; я обливаюсь потом (хотя пронизывающий холод победил батареи в ресторане), встаю в любое время, беру интервью у содержательниц борделей в их логове, у матерей убитых детей, «освещаю» то, «освещаю» другое». Она знала и даже гордилась тем, как о ней отзываются в лондонской редакции: «Если вам нужна всякая сентиментальщина — посылайте Потрясающую Мейбл». Все до самого Рейна — ее владения, между Кёльном и Майнцем не было ни одного города,

большого или маленького, где бы ей не удавалось разбудить человеческие чувства у других людей, она силой вырывала из уст мрачных мужчин драматические признания, вкладывала в уста женщин, онемевших от горя, трогательные слова. Ни один самоубийца, ни одна убитая женщина, ни один изнасилованный ребенок не вызывали в ней ни капельки жалости, она — творец, ее задача — критически исследовать, наблюдать, слушать, слезы же — это для газеты. А сейчас она сидела и рыдала, сопровождая плач противными жалобами на то, что Джанет Пардоу бросает ее на неделю.

— У кого ты берешь интервью? — Джанет это совсем не интересовало, но она хотела отвлечь Мейбл Уоррен от мыслей о разлуке; ее слезы слишком привлекали внимание. — Тебе нужно причесаться.

Мисс Уоррен была без шляпы, и ее черные, коротко, по-мужски, подстриженные волосы безнадежно растрепались.

— Сейвори.

— Кто это?

— Продал сотню тысяч экземпляров «Развеселой жизни». Полмиллиона слов. Две сотни действующих лиц. Гениальный кокни. Добавляет и проглатывает звуки, когда не забывает.

— А почему он в этом поезде?

— Едет на Восток собирать материал. Не моя это работа, но раз уж я тебя провожаю, то займусь и этим. Просили дать интервью на четверть столбца, но в Лондоне сократят до пары абзацев. Он выбрал неудачное время. В летнем затишье ему отвели бы полстолбца среди русалок и морских коньков.

Но вспышка профессионального интереса угасла, стоило ей снова взглянуть на Джанет Пардоу. Никогда больше не увидит она, как Джанет в пижаме разливает кофе по утрам, никогда больше, возвращаясь вечером в свою квартиру, не увидит, как Джанет в пижаме смешивает коктейль.

— Дорогая, какую пару ты выберешь сегодня ночью? — хрипло спросила она. Этот чисто женский вопрос прозвучал странно, когда мисс Уоррен произнесла его своим низким мужским голосом.

— Что ты имеешь в виду?

— Пижаму, дорогая. Я хочу представить себе, какой ты будешь сегодня ночью.

— Наверное, вообще раздеваться не стану. Послушай, уже четверть второго, надо идти. Ты не успеешь взять интервью.

Профессиональная гордость мисс Уоррен была задета. Она фыркнула:

— Ты что думаешь, я буду задавать ему вопросы? Только взгляну на него и вложу в его уста нужные слова. А он не станет возражать. Это ведь для него реклама.

— Но мне нужно найти носильщика — отнести багаж.

Публика выходила из ресторана. Дверь открывалась и закрывалась, и туда, где они сидели, неясно доносились крики носильщиков, свистки паровозов. Джанет Пардоу снова обратилась к мисс Уоррен:

— Нужно идти. Если ты хочешь еще джину — пей, а я пошла.

Но мисс Уоррен ничего не ответила, мисс Уоррен не обращала на нее внимания. Джанет Пардоу стала свидетельницей процесса, типичного для журналистской деятельности Мейбл Уоррен, — она на глазах трезвела. Сначала рука ее привела в порядок волосы, затем носовой платок с пудрой — уступка женским привычкам — коснулся покрасневших щек и век. Одновременно она искоса следила за тем, что отражалось в стоявших вблизи чашках, подносе и стаканах, а потом взгляд ее добрался до зеркал, находившихся вдали, и ее собственного отражения — это было похоже на чтение алфавита по таблице глазного врача. В данном случае первой буквой алфавита, огромной черной «А», стал пожилой человек в плаще, который стоял у столика, стряхивая с себя крошки; он собирался выйти, чтобы поспеть к отходу поезда.

— Боже мой, — сказала мисс Уоррен, прикрывая глаза рукой. — Я пьяная, плохо вижу. Кто это там?

— Мужчина с усиками?

— Да.

— Никогда его раньше не видела.

— А я видела. Видела. Но где?

Мысли мисс Уоррен совсем отвлеклись от предстоящей разлуки, ее нюх что-то ей подсказывал, и, оставив на дне стакана недопитый джин, она крупными шагами пошла вслед за мужчиной. Он уже вышел и быстро зашагал по сияющему черному вестибюлю в сторону лестницы, а мисс Уоррен все никак не могла справиться с вращающейся дверью. Она столкнулась с носильщиком и упала на колени, мотая головой, стараясь стряхнуть с себя благодущие, уныние, несобранность, вызванные опьянением. Носильщик остановился, чтобы помочь ей; схватившись за его руку, она удерживала его до тех пор, пока не совладала со своим языком.

— Какой поезд уходит с пятой платформы? — спросила она.

— На Вену, — ответил носильщик.

— И на Белград?

— Да.

Совершенно случайно она сказала «Белград», а не «Константинополь», но произнесенное вслух слово прояснило ей все. Она крикнула Джанет Пардоу:

— Займи два места! Я поеду с тобой до Вены.

— А билет?

— У меня корреспондентское удостоверение. — Теперь настал ее черед быть нетерпеливой.

— Быстро. Пятая платформа. Час двадцать восемь. Осталось пять минут. — Крепко ухватившись за носильщика, она все не отпускала его. — Послушайте. Я хочу, чтобы вы передали мое сообщение. Кайзер-Вильгельм-штрассе, тридцать три.

— Я не могу уйти с вокзала, — сказал он, стараясь сбросить ее руку.

— Когда кончается ваше дежурство?

— В шесть.

— Плохо. Вам придется незаметно ускользнуть. Вы ведь сумеете? Никто и не заметит.

— Меня уволят.

— Рискните. За двадцать марок.

Носильщик покачал головой:

— Бригадир-то уж точно заметит.

— Я дам еще двадцать, для него.

— Бригадир не пойдет на это, слишком большой риск, да и начальник может узнать.

Мисс Уоррен открыла сумочку и принялась считать деньги. Над ее головой часы пробили половину. Поезд отходил через три минуты, но она ни на секунду не обнаружила свое отчаяние — любое волнение отпугнет этого человека.

— Восемьдесят марок, а бригадиру дайте сколько хотите. Вас не будет всего лишь десять минут.

— Очень уж рискованное дело, — сказал носильщик, но позволил ей втиснуть деньги ему в руку.

— Слушайте внимательно. Пойдете на Кайзер-Вильгельм-штрассе, тридцать три. Найдете контору лондонской газеты «Кларион». Там наверняка кто-нибудь есть. Скажите ему, что мисс Уоррен уехала Восточным экспрессом в Вену. Сегодня ночью он не получит интервью, завтра она продиктует его из Вены по телефону. Скажите, что она нашла след важнейшего материала для первой полосы. Теперь повторите. — Пока он, запинаясь, медленно повторял поручение, она не спускала глаз с часов. Час тридцать одна с половиной. — Ладно. Отправляйтесь. Если вы не передадите сообщение до без десяти два, я донесу, что вы берете взятки. — Она усмехнулась со зловещей веселостью, обнажив крупные, квадратные зубы, и побежала к лестнице.

Час тридцать две. Ей показалось, что слышен свисток, и одним прыжком она перескочила через три ступеньки. Поезд уже тронулся, контролер пытался преградить ей дорогу, но она оттолкнула его в сторону и крикнула через плечо: «Удостоверение». Последние вагоны третьего класса скользили мимо, набирая скорость. «Господи, я брошу пить», — думала она. Потом схватилась рукой за поручень двери последнего вагона; какой-то носильщик с криками пытался схватить ее. Долгие десять секунд, сквозь боль, пронизывающую руку, она думала, что ее стащит с платформы под колеса служебного вагона. Ее пугала высокая подножка. «Мне не достать до нее. Еще немного — и мое плечо не выдержит. Лучше сорваться на платформу, с риском получить сотрясение мозга, чем переломать обе ноги. Но какой материал пропадает», — с горечью подумала она и прыгнула. Ее колени достали до ступеньки как раз в тот момент, когда исчез конец платформы. Скрылся последний фонарь, дверь под нажимом ее тела отворилась внутрь, она навзничь упала в коридор. Затем оперлась о стенку, оберегая ушибленное плечо, и подумала с торжествующей и злобной усмешкой: «Потрясающая Мейбл совершает посадку».

Лучи утреннего света проникли сквозь щель между шторами и осветили полку напротив. Когда Корал Маскер проснулась, первое, что она увидела, была эта полка и кожаный чемодан. Она чувствовала усталость, ее тревожила мысль о поезде, к которому нужно было успеть на вокзал Виктория, о засохшей яичнице и о ломтиках позавчерашнего хлеба, ожидавших ее на кухне. «Зачем я согласилась на эту работу?» — думала она; теперь, когда

приближался час отъезда, она предпочла бы очередь, ползущую по лестнице на Шафтсбери-авеню, и наигранную веселость в часы долгих ожиданий у входа в контору агента. Она подняла штору, и на миг ее поразил вид пронесшегося мимо телеграфного столба, текущей рядом зеленой речки с оранжевыми бликами раннего солнца и поросших лесом холмов. И тут она все вспомнила.

Было еще рано — солнце едва поднималось над холмами. В деревне на дальнем берегу мерцали огоньки, несколько струек дыма поднималось в безветренном небе над деревянными домиками: там разжигали очаги, готовили завтрак для тружеников. Деревня была так далеко от железной дороги, что казалась неподвижной, ее можно было разглядеть, а вот деревья, домики на ближнем берегу и привязанные там лодки уносились назад. Она подняла штору на стеклянной двери в коридор и увидела Майетта — он спал прислонившись спиной к стене. Первое, что подсказывал ей инстинкт, было побуждение разбудить его, а второе — не трогать, пусть спит, а самой снова улечься, пользуясь роскошью за счет самопожертвования ближнего. Она испытывала нежность к нему, словно он вселил в нее новую надежду на то, что в мире существует не только постоянная борьба и все нужно завоевывать собственными руками; может быть, мир не такой уж жестокий. Она вспомнила, как дружелюбно разговаривал с ней пассажирский помощник капитана, как он крикнул ей: «Не забудьте меня!»; вполне возможно, что помощник все еще помнит о ней, вот ведь этот молодой мужчина, который спит за дверью, он же готов пережить несколько часов неудобства во имя незнакомой девушки. Впервые ей пришла счастливая мысль: «Может быть, я живу в памяти людей не только когда на меня смотрят или говорят со мной». Она снова повернулась к окну, но деревня уже исчезла, и те причудливые зеленые холмы, которые она разглядывала, тоже; виднелась по-прежнему только река. Она заснула.

Мисс Уоррен, пошатываясь, шла по поезду. Ей было трудно держаться за поручни правой рукой: все еще болело плечо, хотя она уже просидела почти два часа в коридоре вагона третьего класса. У нее была такая слабость, как будто ее избили; хмель еще не вышел из головы, ей с трудом удавалось привести в порядок свои мысли, но она нюхом чувствовала подлинный аромат охоты. За десять лет репортерской работы, за десять лет корреспонденции о женских правах, изнасилованиях, убийствах она никогда так не приближалась к чрезвычайному сообщению на первой полосе; материал этот не для грошовых газет, за владение им даже сам корреспондент «Таймс» пожертвовал бы годом жизни. «Далеко не всякий сумел бы так воспользоваться подходящим моментом, как я, — гордо подумала она, — да еще и пьяная была». Она шла, шатаясь, вдоль вереницы купе первого класса с гордо поднятой головой, словно на ней была надета съехавшая набок корона.

Удача сопутствовала ей. Из одного купе вышел человек, он направился в уборную, и когда она прижалась спиной к окну, чтобы пропустить его, то заметила, что тот самый мужчина в плаще дремлет в углу, а в купе никого больше нет. Тут мужчина поднял глаза и увидел в дверях мисс Уоррен, слегка покачивающуюся взад и вперед.

— Можно войти? — спросила она. — Я села в Кельне и не могу найти места. — Голос ее был низкий, почти мягкий, словно она уговаривала любимую собаку войти в камеру, где ее усыпят.

— Место занято.

— Только на минутку, просто дать ногам отдых. Я так рада, что вы говорите по-английски. Мне всегда страшно путешествовать в поезде, где нет никого, кроме кучи иностранцев. Ведь человеку может что-то потребоваться ночью, правда? — Она натянуто улыбнулась. — По-моему, вы врач.

— Был когда-то врачом.

— И вы направляетесь в Белград?

С чувством недоумения он украдкой взглянул на нее, взгляд его остался незамеченным, и он внимательно оглядел ее коренастую, обтянутую твидом фигуру, слегка наклонившуюся вперед, блеск кольца с печаткой, раскрасневшееся от нетерпения лицо.

— Нет, — ответил он, — нет. Ближе.

— Я еду только до Вены, — сказала мисс Уоррен.

— Почему вы подумали?... — медленно произнёс он, сомневаясь, правильно ли поступает, задавая этот вопрос; он не привык к опасности в облике английской старой девы, слегка пьяной от джина, — он чувствовал, что джином пахнет по всему вагону.

Рискованные положения, в которых ему приходилось бывать раньше, предупреждали его, что следует лишь наклонить голову, быстро помахать пальцем или просто солгать. Мисс Уоррен тоже заколебалась, и ее колебание было для него подобно искре надежды у заключенного в тюрьму.

— Мне показалось, что я видела вас в Белграде.

— Никогда там не был.

Она решила играть в открытую, отбросив всякую маскировку.

— Я была в Белграде представителем своей газеты во время суда над Камнецом.

Но он уже понял, что необходимо соблюдать осторожность, и поэтому взглянул на нее, не проявляя никакого интереса

— Суда над Камнецом?

— Когда генерал Камнец был привлечен к суду по обвинению в изнасиловании, Циннер был главным свидетелем обвинения. Но генерала, разумеется, оправдали. Присяжные были подобраны из его сторонников. Правительство никогда не допустило бы осуждения такого человека. Со стороны Циннера было просто глупостью давать показания.

— Глупостью?

Его тон учтивого собеседника разозлил ее.

— Вы, конечно, слышали о Циннере? Его пытались пристрелить за неделю до этого, когда он сидел в кафе. Циннер был вождем социал-демократов. Он сыграл на руку властям тем, что давал показания против Камнеца, — ордер на его арест за дачу ложных показаний был выдан еще за двенадцать часов до окончания судебного процесса. Они просто сидели и ждали оправдательного приговора.

— Когда это было?

— Пять лет назад.

Он внимательно следил за ней, прикидывая, какой ответ ее больше всего разозлит.

— Ну, значит, это старая история. Циннера выпустили из тюрьмы?

— Он ускользнул от них. Много бы я дала, чтобы узнать как. Из этого получился бы

замечательный газетный материал. Он просто исчез. Все предполагали, что его убили.

— А его не убили?

— Нет. Он ускользнул.

— Умный человек.

— Не верю я в это, — яростно возразила она. — Умный человек никогда бы не стал давать показания. Какое ему дело до Камнеца и до того ребенка? Он был донкихотствующим дураком.

Из открытой двери несло холодом, и доктор вздрогнул.

— Ночь была мучительной, — сказал он.

Она отмахнулась от его слов крупной, грубой рукой.

— Подумать только, он так и не погиб, — произнесла она с благоговением. — Пока присяжные совещались, он вышел из зала суда на виду у полиции. Они сидели и не могли ничего сделать, пока не вернулись присяжные. Ох, могу поклясться, что видела приказ об аресте, торчавший из нагрудного кармана Хартепа. А Циннер исчез, как будто его никогда и не было. Дальше все пошло по-старому. Даже у Камнеца.

Доктору не удалось скрыть свой пронизанный горечью интерес:

— В самом деле? Даже у Камнеца?

Она воспользовалась благоприятной ситуацией и заговорила хрипловатым голосом, неожиданно дав волю своему воображению:

— Да, если бы он сейчас вернулся, то обнаружил бы, что ничего не изменилось; часы можно было бы перевести назад. Хартеп берет те же взятки, Камнец высматривает маленьких девочек, те же трущобы, те же кафе с концертами в шесть и одиннадцать. Карл ушел из «Московы», вот и все, а новый официант — француз. Открылось, правда, новое кино около парка. Ах да, есть еще одна перемена: застроили сад с пивной Крюгера, там квартиры для государственных чиновников.

Он молчал, был не в состоянии отвечать на этот новый ход своего противника. И так, пивная Крюгера исчезла, а с ней и сказочные фонарики, и яркие зонтики, и цыгане, тихо наигрывавшие в сумерках, переходя от столика к столику. И Карл тоже исчез. Один миг он был готов отдать в руки этой женщины свою безопасность и безопасность своих друзей в обмен на сведения о Карле. Собрал ли он все свои чаевые и уединился в одной из новых квартир около парка и теперь раскладывает салфетки на своем собственном столе, вытаскивает пробку, чтобы наполнить свой стакан? Он понимал, что ему следует прервать пьяную, опасную женщину, сидящую напротив, но был не в состоянии произнести ни слова, пока она сообщала ему новости о Белграде, те новости, о которых его друзья никогда не писали ему в своих еженедельных зашифрованных письмах.

Было и кое-что другое, о чем ему хотелось спросить ее. Она сказала, что трущобы остались прежними, и он словно ощутил под ногами крутые ступеньки, ведущие в узкие ущелья, он нагибался, проходя под ярким, висящим поперек дороги тряпьем, он прикладывал ко рту платок, чтобы заглушить запах собак, детей, протухшего мяса и человеческих испражнений. Ему хотелось знать, помнят ли там доктора Циннера. Он знал каждого обитателя, знал так близко, что они могли бы счесть такую осведомленность опасной, если бы полностью не доверяли ему, если бы он по рождению не был одним из них. А поэтому его обирали, доверяли ему свои тайны, радушно встречали, ссорились с ним и любили его. Пять лет —

долгий срок. Его могли уже и забыть.

Тут мисс Уоррен внезапно перевела дух.

— Перейдем к сути дела. Я хочу получить интервью исключительно для своей газеты. «Как я сбежал?» Или: «Почему я возвращаюсь на родину?»

— Интервью?

Он повторял ее слова, и это действовало ей на нервы; у нее голова раскалывалась от боли, она чувствовала себя «паршиво». Такое слово она употребляла часто — оно обозначало ее ненависть к мужчинам, ко всем их обходным маневрам и уверткам, к тому, как они растаптывают красоту и, крадучись, удирают прочь, внушая лишь отвращение. Они хвастаются женщинами, доставившими им наслаждение; даже этот пожилой человек с поблекшим лицом, что сидит перед ней, в свое время видел красоту обнаженного женского тела, руки, охватившие сейчас колено, гладили, шарили, получали наслаждение. А в Вене Джанет Пардоу будет для нее потеряна — она отправляется в мир, где властвуют мужчины. Они будут льстить ей, дарить пестрые, дешевые подарки, будто она дикарка, которую можно соблазнить зеркальцем и стеклянными бусами из «Вулворта». Но больше всего она опасалась того, что сама Джанет будет наслаждаться, — до их удовольствия ей не было дела. Вовсе не любя ее или полюбив на час, на день, на год, мужчины будут заставлять ее млеть от наслаждения, рыдать от радости. А вот она, Мейбл Уоррен, которая спасла ее от судьбы заживо похоронившей себя гувернантки, кормила ее, одевала, готова была любить ее с неизменной страстью до самой смерти, без пресыщения, могла только поцелуями выразить свою любовь, ей всегда суждено сознавать, что она не может доставить подлинной радости и сама не испытывает ничего, кроме угнетающего чувства неудовлетворенности. И вот теперь, с раскалывающейся от боли головой, пропахшая джином, понимая, как безобразно ее покрасневшее лицо, она остро ненавидела «паршивых» мужчин, их напористость и фальшивое обаяние.

— Вы доктор Циннер.

Со всевозрастающей злостью мисс Уоррен заметила, что он и не пытается отрицать это, а просто небрежно сообщает ей, под каким именем путешествует.

— Моя фамилия — Джон.

— Доктор Циннер, — зарычала она, закусив зубами нижнюю губу, чтобы не потерять самообладание.

— Ричард Джон, учитель, еду в отпуск.

— В Белград?

— Нет. — Он поколебался минуту. — Выхожу в Вене.

Она не поверила ему, но усилием воли заставила себя снова стать любезной.

— Я тоже выхожу в Вене. Может быть, вы позволите мне показать вам некоторые достопримечательности? — В дверях показался мужчина, и она поднялась. — Пожалуйста, простите. Это ваше место. — Она ухмыльнулась, глядя в конец купе, едва устояла, когда поезд с грохотом промчался по стыку рельсов, не смогла сдержать отрывку, которая на миг наполнила купе запахом джина и посыпавшейся с лица дешевой пудры. — Мы еще увидимся до Вены, — добавила она и, сделав несколько шагов по коридору, прислонилась разгоряченным лицом к холодному, грязному окну, чувствуя, как ее пронизывает омерзение к самой себе за то, что она напивается и выглядит такой неопрятной. «А все-таки я его

заполучу, — подумала она, краснея от стыда за свою отрывку, словно барышня на званом обеде. — Уж как-нибудь да заполучу, будь он проклят».

Мягкий свет заливал все купе. Вдруг на минутку поверилось в то, что солнце воплощает нечто полное любви и сострадания к людям. Человеческие существа плавали подобно рыбам в золотистой воде; освобожденные от силы притяжения, полные восторга, они словно парили без крыльев в стеклянном аквариуме. Безобразные лица и уродливые тела если не стали красивыми, то, из-за несвойственных им ощущений, принимали какую-то причудливую гротескную форму. Они взвивались и падали в этом золотистом потоке, что-то шептали и предавались мечтам. В час рассвета они не были в плену, ибо не сознавали, что они пленники.

Корал Маскер снова проснулась. Она тут же встала и подошла к двери. Майетт утомленно дремал, глаза его внезапно открывались в такт поезду. Ее сознание оставалось необычайно ясным, словно золотистый свет обладал свойством проникновения, и ей становились понятны побуждения, обычно скрытые, и поступки, которые, как правило, не были для нее ни важными, ни значительными. Сейчас, когда она наблюдала за Майеттом и он осознал, что она тут, Корал заметила, как руки его приподнялись, но остановились на полпути; она поняла, что он сознательно удержал этот шуточный жест, типичный для людей его национальности.

— Я свинья. Вы провели в коридоре всю ночь, — мягко сказала она.

Он протестующе пожал плечами, подобно ростовщику, назначившему низкую цену за какие-нибудь часы или вазу.

— Ну и что? Я не хотел, чтобы вас беспокоили. Мне нужно было дождаться проводника. Могу я войти?

— Конечно. Это же ваше купе.

Он улыбнулся, на этот раз невольно вскинул руки и поклонился, слегка согнув спину.

— Прошу прощения. Оно ваше. — Он извлек из рукава носовой платок, завернул манжеты и замахал руками в воздухе: — Внимание. Смотрите. Билет первого класса. — Билет вылетел из платка и упал на пол между ними.

— Это ваш.

— Нет, ваш.

Он радостно засмеялся, наслаждаясь ее изумлением.

— О чем это вы? Я не могу принять его. Послушайте, он, наверно, стоит много фунтов.

— Десять, — хвастливо ответил Майетт. — Десять фунтов. — Он поправил галстук и небрежно добавил: — Это для меня пустяки.

Но его самоуверенность и хвастливый взгляд насторожили ее.

— Вы меня подкупить хотите? Вы думаете, я кто? — спросила она с непреодолимым подозрением. Билет лежал у их ног. Ничто не могло заставить ее поднять его. Она топнула ногой — золото померкло и стало всего лишь желтым пятном на стекле и подушках. — Я возвращаюсь на свое место.

— Вовсе я о вас не думаю. У меня есть о чем подумать. Не хотите принять билет — можете

его выбросить, — вызываяще сказал он.

Корал видела, что он наблюдает за ней; его плечи снова поднялись, хвастливо, небрежно; она отвернулась к окну, к реке и к мосту, что проплывали мимо, к оголенной березке, осыпанной ранними почками, и тихо заплакала. «Вот как я благодарю его за спокойную, долгую ночь безмятежного сна, вот как я принимаю подарок. — И она со стыдом и огорчением вспомнила, как в юности видела во сне великолепных куртизанок, принимающих дары от принцев. — А я огрызаюсь на него, словно замученная официантка».

Она слышала, как Майетт двигался за ее спиной, и поняла, что он нагнулся за билетом; она хотела повернуться к нему, выразить свою благодарность, сказать: «Как восхитительно будет всю дорогу сидеть на этих мягких подушках, спать на этом месте, забыть, что едешь на работу, вообразить, что ты богата. Никогда и никто не был ко мне так добр, как вы». Но слова, произнесенные раньше, вульгарность ее подозрений словно классовый барьер встали между ними.

— Дайте мне вашу сумочку, — сказал он. Она, не оборачиваясь, протянула ему сумочку и услышала, как его пальцы открыли замок. — Ну вот, я положил его туда. Не желаете им воспользоваться — не надо. Просто посидите здесь, когда захочется. И поспите здесь, когда почувствуете, что устали.

«Почувствую, что устала, — думала она. — Я могла бы спать здесь часами».

— Но как же это можно? — проговорила она напряженным голосом, стараясь удержать слезы.

— Ну, я устроюсь в другом купе. Я спал прошлую ночь в коридоре только потому, что беспокоился за вас. Вдруг бы вам что-нибудь понадобилось.

Она снова заплакала, прислонившись лбом к окну, полузакрыв глаза, так что ресницы словно занавесом отгородили ее от предостережений тощих, опытных старух: «Мужчина хочет только одного. Не принимай подарков от чужого человека». Ей всегда говорили: чем дороже подарок, тем больше опасность. Даже шоколад и поездка в автомобиле после театра, в темноте, ведут к поцелуям в губы или в шею, ну, может, немножко за платье подергают. От девушки ожидают расплаты — к этому сводятся все советы, даром никогда ничего не получишь. Писатели вроде Руби М. Эйрес могут говорить, что целомудрие ценится дороже рубинов, но по правде-то цена ему — меховая шуба или около того. Нельзя же принять шубу, если не поспишь с человеком; не поспишь — мужчина будет недоволен — так обязательно скажут все женщины постарше. А этот человек заплатил десять фунтов.

Он взял ее за локоть:

— В чем дело, объясните мне. Вы плохо себя чувствуете?

Она вспомнила руку, взбивающую подушку, шелест его удаляющихся шагов. И повторила:

— Как же это можно? — Но на сей раз она словно призывала его сказать что-нибудь и опровергнуть весь ее жизненный опыт, накопленный бедностью.

— Знаете что, садитесь, и давайте я вам что-то покажу, — сказал он. — Это Рейн.

Ей вдруг стало смешно.

— Я так и думала.

— Видели скалу, выступающую в реку, — мы ее только что проехали? Это скала Лорелей. Гейне.

— А что такое — Гейне?

— Один еврей, — произнес он с удовольствием.

Корал начала забывать о решении, которое заставила себя принять, она с интересом наблюдала за ним, стараясь обнаружить что-то новое в давно знакомых чертах: маленькие глазки, большой нос, черные напояженные волосы. Слишком часто она видела мужчин такого типа, то в первом ряду провинциального театра — это мог быть официант в смокинге, то за письменным столом в конторе агента по найму, то за кулисами во время репетиции, то у служебного входа поздно вечером; в театральном мире всюду звучал его то мягкий и заискивающий, то повелительный голос. Низость их была обыденной, привычной, иногда у них случались приступы великодушия, но этому никогда нельзя было доверять. Доброжелательная похвала на репетиции ничего не означала: после этого, сидя в своем кабинете и потягивая виски, такой мог сказать: «Эта девчонка в первом ряду, не стоит того, что ей платят». Его невозможно было разозлить, он никого не оскорблял, никогда не произносил слов обиднее, чем «эта девчонка», а увольнение приходило в виде напечатанной на машинке бумажки, положенной в твою секцию ящика для писем.

Отчасти потому ли, что ни одно из этих свойств не мешало ей любить евреев за их удивительную невозмутимость, отчасти из-за того, что она считала обязанностью каждой девушки быть любезной, Корал произнесла доброжелательным тоном:

— Евреи артистичные, правда? Подумайте, почти весь оркестр ансамбля «Атта Герл» состоял из еврейских ребят.

— Да, — ответил он с непонятной ей горечью.

— Вы любите музыку?

— Я умею играть на скрипке, правда не очень-то хорошо.

На миг ей почудилось, что в давно знакомых ей глазах появилось какое-то непонятное оживление.

— Я всегда чуть не плакала, когда слышала «Санни Бой», — продолжала Корал.

Она ощутила, какая пропасть разделяет ее понимание и способ выражать свои мысли, как она чувствует, а выразить ничего не может, а поэтому очень уж часто говорит невпопад. Сейчас она заметила, что непонятное оживление исчезло из его глаз.

— Посмотрите, реки уже нет. Мы проехали Рейн. А теперь скоро и завтрак, — быстро проговорил он.

Такая невнимательность немного огорчила ее, но она не привыкла возражать.

— Мне нужно будет сходить за саквояжем, — сказала она. — У меня там бутерброды.

Он внимательно посмотрел на нее:

— Неужели вы взяли еды на три дня?

— О нет. Только на вчерашний ужин и сегодняшний завтрак. Экономия — около, восьми шиллингов.

— Вы что, скупая, как шотландцы? Слушайте. Вы будете завтракать со мной.

— А что, вы ожидаете, я буду делать с вами еще?

Он ухмыльнулся.

— Я вам скажу. Обед, чай, ужин. А завтра...

Она со вздохом перебила его:

— По-моему, у вас не все дома. Вы ведь ниоткуда не сбежали?

Лицо его помрачнело, голос вдруг зазвучал униженно:

— Вам со мной неприятно? Я вам могу наскучить?

— Нет. Не наскучите. Но почему вы для меня все это делаете? Я не хорошенькая и, по-моему, совсем не умная.

Она страстно желала опровержения: «Вы прелестная, яркая, остроумная» — тех невероятных слов, которые освободили бы ее от необходимости платить ему или отказываться от его даров; прелесть и остроумие ценятся выше, чем любой предложенный дар, а если девушку любят, то даже многоопытные старухи согласятся с тем, что она имеет право брать и ничего не давать взамен. Но он ее не опроверг. Его объяснение было почти оскорбительно простым.

— Мне так легко разговаривать с вами. У меня ощущение, что я вас давно знаю.

Корал понимала, что это означает.

— Да, мне тоже кажется, что я вас знаю, — сухо ответила она, привычно перенося горечь разочарования: она-то имела в виду бесконечную лестницу, дверь в контору агента и молодого дружелюбного еврея, терпеливо и апатично объясняющего, что он не может ей ничего предложить, не может предложить решительно ничего.

«Да уж, мы понимаем друг друга, — думала она, — оба это сознаем и потому не находим нужных слов». Мир перемещался, изменялся, проносился мимо них. Деревья и строения появлялись и исчезали на фоне бледно-голубого облачного неба, бук сменялся вязом, вяз — елью, а ель — камнем; мир, подобный свинцу на горячей плите, пузырясь, принимал различные формы, иногда похожие на язык пламени, иногда на листок клевера. А мысли их оставались прежними, говорить было не о чем, ибо нечего было открывать друг в друге.

— Вам ведь в самом-то деле и не хочется, чтобы я завтракала с вами, — сказала она, пытаясь быть благоразумной, да и неловкое молчание нужно было нарушить. Но он не пожелал согласиться с ее решением.

— Хочется, — ответил он с некоторой неуверенностью в голосе, и она поняла, что ей необходимо проявить твердость: подняться, оставить его, вернуться в свой вагон, а он и сопротивляться не будет. Но в саквояже у нее были только черствые бутерброды да немного вчерашнего молока в бутылке из-под вина, а по коридору распространялся аромат свежесваренного кофе и теплого белого хлеба.

Мейбл Уоррен налила себе кофе, крепкого, без молока и без сахара.

— Это лучший материал, за которым я когда-либо гонялась. Я видела, как он пять лет тому назад выходил из зала суда, а Хартеп в это время наблюдал за ним с ордером на его арест в кармане. Кэмпбелл из газеты «Ньюс» тут же бросился вслед, но на улице потерял его. Домой он больше не возвращался, и с того времени по сей день о нем ничего не было слышно. Все считали, что он убит, но мне всегда было непонятно: если его намеревались убить, зачем

было брать ордер на его арест.

— А вдруг он не заговорит, — без большого интереса сказала Джанет Пардоу.

Мисс Уоррен разломил булочку.

— Я еще ни разу не потерпела неудачу.

— Ты сама что-нибудь сочинишь?

— Нет. Это хорошо только для Сейвори, а не для него. Я заставлю его заговорить, — злобно сказала она. — Любым способом. Пока мы едем до Вены. У меня почти двенадцать часов. Придумаю что-нибудь. — И прибавила, размышляя: — Говорит, что он школьный учитель. Может, и правда. Хорошая получится корреспонденция. А куда он едет? Сказал, что выходит в Вене. Если так, я последую за ним. Поеду за ним в Константинополь, если потребуется. Но я этому не верю. Он едет домой.

— В тюрьму?

— На суд. Скорее всего, он доверяет тем людям. Его всегда любили в трущобах. Но он дурак, если думает, что его помнят. Пять лет. Так долго никого не помнят.

— Дорогая, как мрачно ты на все смотришь.

Мейбл Уоррен с трудом вернулась к окружающей ее действительности; кофе плескался в ее чашке, столик покачивался, напротив сидела Джанет Пардоу. Джанет Пардоу в таких случаях недовольно надувала губы, и спорила, и сердилась, но сейчас она украдкой поглядывала на еврея, сидевшего за столиком с девушкой, на взгляд мисс Уоррен, простоватой, но веселой и привлекательной. «А что до еврея, то единственное его достоинство — молодость и деньги, но этого достаточно, чтобы привлечь внимание Джанет», — с горечью думала Мейбл Уоррен, понимая, что права.

— Ты же знаешь, это истина, — сказала она, сознавая, что гнев ее бесплоден. Широкой, огрубевшей рукой она разломил еще одну булочку; ее волнение становилось все сильнее по мере того, как она осознавала всю чудовищность своих догадок. — Ты меня через неделю забудешь.

— Ну, разумеется, нет, дорогая. Послушай, я ведь тебе всем обязана.

Слова эти не удовлетворили Мейбл Уоррен. «Когда любишь, — думала она, — не думаешь о том, чем ты обязана». Мир, по ее мнению, делился на тех, кто рассуждает, и тех, кто чувствует. Первые учитывают купленные им платья, оплаченные счета, но платья со временем выходят из моды, а ветер подхватывает счет со стола и уносит прочь, и в любом случае долг был оплачен поцелуем или другой любезностью. Те, рассудочные, обо всем забывают, а те, кто чувствует, помнит, они не берут и не дают в долг, они платят ненавистью или любовью. «Я одна из них, — думала мисс Уоррен, глаза ее наполнились слезами, а булочка застряла в горле. — Я одна из тех, кто любит и помнит всегда, кто сохраняет верность прошлому и носит траурные платья и траурные повязки на рукаве. Я ничего не забываю». Ее взгляд скользнул по девушке, сидевшей с тем мужчиной, — так утомленный мотоциклист с непреодолимым желанием разглядывает простенькую гостиницу с алыми занавесками на окнах и мечтает о жидком пиве, а потом снова продолжает свой путь по направлению к шикарному отелю с музыкой и пальмами. «Я заговорю с ней, у нее миленькая фигурка, — подумала она. — В конце концов, нельзя же всю жизнь жить с грудным, подобным музыке, голосом, со стройной, как пальма, фигурой. Верность совсем не то, что воспоминания: можно забыть и оставаться верным, а можно помнить и нарушить верность».

«Я люблю Джанет Пардоу, я всегда буду любить Джанет Пардоу», — спорила она сама с собой. Джанет открыла ей, что такое любовь, в самый первый вечер их встречи в кино на Кайзер-Вильгельм-штрассе, и все же, все же... Они обе тогда почувствовали отвращение к игравшему главную роль актеру; случилось так, что Мейбл Уоррен громко по-английски выразила свои чувства в напряженной тишине темного зала: «Не выношу таких сальных мужиков» — и услышала слова согласия, произнесенные низким, музыкальным голосом. Однако даже тогда Джанет Пардоу пожелала досмотреть фильм до конца, до последнего объятия, до окончательного завуалированного распутства; Мейбл Уоррен уговаривала ее уйти и выпить чего-нибудь, но Джанет Пардоу сказала, что хочет посмотреть кинохронику, и они обе остались. Кажется, в первый же вечер проявился характер Джанет, он проявлялся всегда: неизбежно приходилось соглашаться с ней, чего бы это ни касалось. Брань или споры никогда не нарушали ее невозмутимого спокойствия; так продолжалось до вчерашнего вечера, когда она надумала отделаться от Мейбл Уоррен.

— Не люблю евреев, — злобно произнесла Мейбл Уоррен, совсем не стараясь понизить голос.

И Джанет Пардоу, снова взглянув на Мейбл Уоррен большими лучистыми глазами, ответила:

— Я тоже, дорогая.

В порыве отчаяния Мейбл Уоррен умоляюще обратилась к ней:

— Джанет, когда меня не будет с тобой, станешь ли ты помнить о том, как мы любили друг друга? Ты ведь не позволишь никакому мужчине дотронуться до тебя?

Она рада была бы услышать возражения, получить возможность спорить, приводить доводы, каким-то образом наложить запрет на эту неустойчивую душу, но единственное, чего она снова дождалась, было согласие, произнесенное рассеянным тоном:

— Ну конечно нет, дорогая. Разве я могу?

Если бы Мейбл Уоррен обернулась лицом к зеркалу, то получила бы заряд здравомыслия от своего отражения. «Ну нет, — думала она, — надо найти удовлетворение в чем-нибудь красивом. Что уж хорошего думать о себе, о своих жестких волосах, о красных веках, о мужском неблагозвучном голосе». Любой мужчина, даже самый заурядный еврей, был ее реальным соперником. Когда она уйдет из ее жизни, красotka Джанет Пардоу постепенно превратится в пустое место, почти перестанет существовать, будет по необходимости спать, есть, вызывать восхищение. Но скоро она снова будет удобно сидеть в кресле, крошить пальцами тост и говорить: «Ну, разумеется, правильно. Я всегда это чувствовала». Чашка задрожала в руке Мейбл Уоррен, кофе перелилось через край и закапало ей юбку, уже покрытую пятнами жира и пива.

«Какое имеет значение, что делает Джанет, раз мне об этом неизвестно, — цинично думала она. — Какое имеет значение, если она позволит какому-нибудь мужику утащить себя в постель, раз она возвратится ко мне». Но последняя мысль заставила ее содрогнуться от душевной боли. «Вряд ли Джанет вернется к стареющей, некрасивой, полоумной бабе, — размышляла она. — Джанет будет рассказывать ему обо мне, о двух годах, прожитых со мной, о тех днях, когда мы были счастливы, о том, какие я ей устраивала сцены, даже о стихах, которые я для нее писала. А он будет смеяться, и она будет смеяться, и, смеясь, они отправятся в постель. Мне лучше твердо решить, что это конец, что она никогда не вернется из этой увеселительной поездки. Я ведь даже не знаю, действительно ли она собирается навестить дядю. Ну довольно, свет на ней клином не сошелся, — думала мисс Уоррен, кроша булочку и в отчаянии глядя на свои неухоженные руки. — Вот, например, эта девочка, она такая же бедная, какой была Джанет в тот вечер в кино; она не такая прелестная, как Джанет, — просто наслаждение часами сидеть и наблюдать за каждым движением тела Джанет:

Джанет делает прическу, Джанет переодевает платье, Джанет натягивает чулки, Джанет смешивает коктейли; но, может быть, у этой гораздо больше ума, пусть заурядного, но острого».

— Дорогая, ты что, втрескалась в эту малышку? — весело спросила Джанет.

Поезд покачнулся, а затем с ревом ворвался в туннель и вырвался из него, он заглушил ответ Мейбл Уоррен, схватив его, как сердитая рука хватает письмо, рвет и разбрасывает клочки; только один клочок падает лицевой стороной вверх, и видно, что на нем написано: «Навсегда», — поэтому никто, кроме Мейбл Уоррен, не мог бы сказать, в чем заключался ее протест, поклялась ли она помнить всегда или заявила, что никто не может навсегда сохранить верность одному человеку. А когда поезд снова вышел на солнечный свет, засверкали кофейники, забелели скатерти, за окнами взорам открылись пастбища, на которых паслось несколько коров, а потом пошел густой ельник, мисс Уоррен забыла, что хотела сказать: в человеке, вошедшем в вагон-ресторан, она узнала соседа Циннера. В этот момент девушка поднялась. Она и ее спутник разговаривали так мало, что мисс Уоррен не могла решить, знакомы ли они вообще; она надеялась, что они не знают друг друга, так как в уме ее складывался план, который даст ей возможность не только заговорить с девушкой, но поможет окончательно пригвоздить Циннера к первой полосе газеты — завидное расписание.

— До свидания, — сказала девушка.

Мейбл Уоррен, следя за ней взглядом опытного наблюдателя, обратила внимание на то, как ее спутник втянул голову в плечи, словно пристыженный, привыкший к суду воришка, который, приподнявшись со скамьи подсудимых, робко протестует против несправедливости приговора, и делает это больше по привычке, чем из подлинного сознания несправедливости. Неискушенный наблюдатель мог бы, глядя на их лица, подумать, что эта пара поссорилась, но Мейбл Уоррен разбиралась в этом лучше.

— Я увижу вас снова? — спросил Майетт, и девушка ответила:

— Если захотите меня видеть, то знаете, где меня найти.

— Ну, пока. Мне нужно кое-что сделать, Джанет, — сказала мисс Уоррен и вышла вслед за девушкой из вагона.

Спотыкаясь и держась рукой за стенки, она прошла через качающийся переход между вагонами. Голова уже не болела, в ней зрел и высвечивался план. Когда она говорила, что ей нужно кое-что сделать, это «кое-что» не было чем-то неясным, это было венцом победоносной идеи, а мозг ее был точно залитый светом зал, полный одобрительно перешептывающейся толпы. Все сходилось — это она отлично понимала. И тут же принялась прикидывать, какое место ей могут отвести в Лондоне: раньше она никогда не печаталась на первой полосе. У них есть конференция по разоружению, арест пэра за растрату и женитьба баронета на девице из американского варьете. Ни один из этих материалов не был из ряда вон выходящим; до того как отправиться на вокзал, она все прочла на телеграфной ленте агентства «Новости». «Конференцию по разоружению и девицу из варьете поместят на заднюю полосу; раз нет сообщения о войне или о смерти короля, мой материал будет главным на первой полосе», — думала она. Не спуская глаз с девушки, идущей впереди, она представила себе доктора Циннера, усталого, в потрепанной, старомодной одежде, с высоким воротничком и узким, туго завязанным галстуком, — он сидит в углу своего купе, охватив руками колена, а она врет и врет ему насчет Белграда. «Доктор Циннер жив», — прикидывала она, придумывая заголовки. — Нет, это не подойдет для шапки, ведь прошло пять лет и не очень-то многие помнят его имя. «Возвращение человека-загадки». «Как доктор Циннер избежал смерти». «Только в нашей газете».

— Милая девушка! — задыхаясь, заговорила она, ухватившись за поручни, — видно было,

что ее пугал второй переход: сотрясающийся металл и скрип стучающихся друг о друга буферов. Голос ее срывался, она должна была снова громко выкрикнуть свое обращение — этот окрик не вязался со взятой на себя ролью: пожилая женщина, у которой перехватило дыхание. Девушка обернулась и подошла к ней, ее простодушное личико было бледно и печально, и любой посторонний мог прочесть на нем все ее чувства.

— Что случилось? Вам нехорошо?

Мисс Уоррен не шевелилась; стоя на другом конце лежащих друг на друге стальных листов, она напряженно обдумывала, как поступить.

— Ох, дорогая, как я рада, что вы англичанка. Я чувствую такую слабость. Не могу перейти. Знаю, я глупая старуха, — ей было противно, но она по необходимости играла на своем возрасте, — не подадите ли вы мне руку?

«Для такой игры мне не хватает длинных волос — выглядела бы более женственно, — думала она, — жалко, что пальцы желтые. Слава богу, от меня уже не несет джином».

Девушка шагнула к ней.

— Конечно. Не бойтесь. Держитесь за мою руку.

Мисс Уоррен схватилась за руку своими сильными пальцами, словно сжимая шею набросившегося на нее пса.

Когда они достигли следующего коридора, она снова заговорила. Шум поезда немного утих, и она могла понизить голос до хриплого шепота.

— Если бы только в поезде оказался врач, моя дорогая. Я чувствую себя совсем больной.

— Но здесь есть врач. Его зовут доктор Джон. Прошлую ночь я упала в обморок, и он помог мне. Давайте я найду его.

— Я так боюсь врачей, дорогая, — сказала мисс Уоррен, торжествуя в душе: невероятно повезло, что девушка знает Циннера. — Сначала поговорите со мной немножко, дайте мне успокоиться. Как вас зовут, милочка?

— Корал Маскер.

— Можете называть меня Мейбл. Мейбл Уоррен. У меня есть племянница, она так на вас похожа. Я работаю в Кёльне, корреспондентом одной газеты. Непременно приезжайте как-нибудь навестить меня. Прелестнейшая квартира. У вас отпуск?

— Я танцую. Еду в Константинополь. Там заболела одна девушка в английском шоу.

Держа руку девушки в своей, охваченная волнением, Мейбл Уоррен вдруг почувствовала непреодолимое желание проявить свою щедрость самым глупым, прямым способом. Почему не расстаться с надеждой на возвращение Джанет Пардоу и не предложить этой девушке расторгнуть ее контракт и занять место Джанет в качестве платной компаньонки?

— Вы такая хорошенькая, — вслух произнесла она.

— Хорошенькая, — повторила Корал Маскер. Она даже не улыбнулась — ничто не могло поколебать ее недоверчивость. — Вы что, дурачите меня?

— Моя дорогая, вы такая добрая и милая.

— Вот уж точно, — заговорила Корал Маскер слегка вульгарным тоном, и это на миг

омрачило мечты Мейбл Уоррен. — Оставьте в покое мою доброту, скажите опять, что я хорошенькая, — умоляюще попросила девушка.

Мейбл Уоррен согласилась с величайшей готовностью:

— Милочка моя, вы просто прелесть. — Жадное удивление, с каким девушка слушала ее, было трогательно; слово «девственность» промелькнуло в развращенном городской жизнью сознании Мейбл Уоррен. — Вам этого никто не говорил? — нетерпеливо и недоверчиво спросила Мейбл Уоррен с мольбой в голосе. — Даже ваш молодой приятель в вагоне-ресторане?

— Я его почти не знаю.

— Полагаю, у вас есть здравый смысл, моя дорогая. Евреям доверять нельзя.

— Вы считаете, он тоже так подумал? — медленно произнесла Корал Маскер. — Что он мне не понравился потому, что он еврей?

— Они привыкли к этому, дорогая.

— Тогда я пойду и скажу ему, что он мне нравится, что мне всегда нравились евреи.

Мейбл Уоррен злобно процедила шепотом непристойное ругательство.

— Что вы сказали?

— Вы ведь не бросите меня в таком состоянии, пока не найдете врача? Послушайте, мое купе в конце поезда, я еду с племянницей. Пойду туда, а вы найдите врача.

Она проследила, как Корал Маскер исчезла из вида, и проскользнула в уборную. Паровоз внезапно остановился, а затем дал задний ход. Посмотрев в окно, мисс Уоррен узнала шпили Вюрцбурга, мост через Майн. Паровоз загонял под навес вагоны третьего класса, маневрируя взад и вперед между сигнальными будками и запасными путями. Мисс Уоррен оставила дверь приоткрытой, чтобы видеть коридор. Когда появились Корал Маскер и доктор Циннер, она закрыла дверь и подождала, пока мимо не прозвучали их шаги. У них впереди был очень длинный путь по коридорам, и, если она поторопится, времени у нее будет достаточно. И выскользнула из уборной. Прежде чем она успела закрыть дверь, поезд, трогаясь, дернулся, и дверь с шумом захлопнулась, но ни Корал Маскер, ни доктор Циннер не обернулись.

Мейбл Уоррен неуклюже побежала по коридору, несущийся поезд швырял ее от одной стенки к другой, она ушибла руку и колено. Пассажиры, возвращавшиеся с завтрака, прижимались к окнам, чтобы пропустить ее, некоторые из них ругали ее по-немецки, зная, что она англичанка, и воображая, что она их не понимает. Она злобно усмехалась им вслед, обнажая крупные передние зубы, и бежала дальше. Нужно купе найти было легко — она узнала плащ, висящий в углу, и мягкую поношенную шляпу. На сиденье лежала утренняя газета, доктор Циннер, наверно, купил ее несколько минут назад на вокзале в Вюрцбурге. За время краткого пути по коридору следом за Корал Маскер она продумала каждый свой ход: пассажир, едущий в этом же купе, завтракает, доктор Циннер разыскивает ее на другом конце поезда и будет отсутствовать, по крайней мере, несколько минут.

За это время она должна узнать достаточно, чтобы заставить его заговорить.

Сначала плащ. В карманах не было ничего, кроме коробки спичек и пачки «Голд Флейк». Она взяла шляпу и прощупала вдоль ленты и за подкладкой: ей приходилось иногда обнаруживать весьма нужную информацию, спрятанную в шляпе, но в докторской ничего не было. Теперь она достигла самого опасного момента своего обыска — ведь шляпу и даже карманы плаща можно осмотреть незаметно, но стащить чемодан с сетки, отомкнуть замок с

помощью перочинного ножа и поднять крышку — это слишком очевидно подводило ее под угрозу обвинения в краже. Да еще и одно лезвие ножа сломалось в то время, когда она трудилась над замком. Каждому, кто пройдет мимо купе, станет ясно, что она там делает. С покрывшимся испариной лбом она все больше бесилась от спешки. «Если меня застанут здесь, увольнение не миновать. Самая дешевая газета в Англии не потерпела бы такого, а если выгонят, я теряю Джанет и теряю шансы заполучить Корал. А достигни я цели, — думала она, дергая, толкая, царапая, — для меня сделают что угодно, в обмен на такой материал можно будет потребовать прибавку по меньшей мере четыре фунта в неделю. Я смогу снять квартиру побольше. Когда Джанет проведает об этом, она вернется, тут уж она не покинет меня. В оплату за все это я приобрету счастье, спокойствие», — проносилось у нее в голове, и замок поддался, крышка поднялась, и ее пальцы добрались до тайников доктора Циннера. Шерстяной бандаж был первым тайником.

Она осторожно подняла его и обнаружила паспорт. Он был на имя Ричарда Джона, профессия — учитель, возраст — пятьдесят шесть. «Это ничего не доказывает, — думала она. — Все они, сомнительные иностранные политики, знают, где купить паспорт». Она положила паспорт туда же, где нашла, и принялась шарить руками по одежде, пробираясь к середине чемодана, к тому месту, до которого никогда не доходят таможенники, — они проверяют содержание багажа снизу и сбоку. Она надеялась найти какую-нибудь брошюру или письмо, но там оказался только старый «Бедекер» издания 1914 года. «Константинополь, Малая Азия, Балканы, Архипелаг, Кипр», завернутый в брюки. Однако Мейбл Уоррен делала все тщательно: рассчитав, что еще около минуты ей ничто не угрожает, осматривать же больше нечего, она раскрыла «Бедекер» — странно было, почему он так старательно запрятан. Она взглянула на форзац и разочарованно прочла имя Ричарда Джона, написанное мелким, неровным почерком — кончик пера царапал. Но под именем был адрес: Скул Хаус, Грейт Берчингтон-он-Си — его стоило запомнить, «Кларирон» сможет послать туда сотрудника взять интервью у директора школы. За этим, может быть, кроется хороший материал.

Путеводитель, похоже, был куплен у букиниста, обложка очень потрепана, на форзаце наклейка с именем книгопродавца на Чаринг-Кросс-роуд. Она открыла книгу на главе о Белграде. Там был план размером в страницу, он оторвался от корешка, но никаких пометок на нем не было. Мисс Уоррен просмотрела каждую страницу, относящуюся к Белграду, затем каждую, относящуюся к Сербии, каждую о государствах, входящих теперь в состав Югославии, — там не было ничего примечательного, кроме черной кляксы. Она бы бросила поиски, если бы не обнаружила книгу в таком месте. Упрямо, не доверяя своим глазам, она уверяла себя, что книга спрятана неспроста, значит, в ней должно быть то, что нужно скрыть. Бегло просматривая страницы и придерживая их большим пальцем — они ложились неровно из-за множества сложенных карт, — она обнаружила на одной из первых страниц какие-то линии, кружки и треугольники, начерченные чернилами поверх текста. Но в тексте говорилось лишь о каком-то неизвестном городке в Малой Азии, линии же могли быть нацарапаны неумелой рукой ребенка при помощи линейки и циркуля. Конечно, если эти линии — код, только эксперт мог бы их расшифровать. «Он меня победил, — с ненавистью думала она, разглаживая содержимое чемодана, — тут ничего нет». Но ей не хотелось класть «Бедекер» обратно. Он его спрятал, значит, в нем можно что-то отыскать. Она уже так сильно рисковала, что не раздумывая решила рискнуть еще немножко. Закрыв чемодан, она положила его обратно на сетку, но «Бедекер» засунула под кофту и зажала под мышкой — там можно было придерживать его сбоку рукой.

Однако идти на свое место было неразумно — она встретит возвращающегося доктора Циннера. Тут она вспомнила про Куина Сейвори, у которого собиралась взять интервью на вокзале. Лицо его было ей хорошо знакомо по фотографиям в «Татлере», карикатурам в «Нью-Йоркере», карандашным наброскам в «Меркьюри». Близоруко прищурив глаза, она украдкой взглянула вдоль коридора, затем быстро зашагала прочь. В первом классе Куина Сейвори искать было нечего, но она обнаружила его в спальном вагоне второго класса.

Уткнувшись подбородком в воротник пальто, охватив одной рукой чашечку трубки, он следил маленькими блестящими глазками за теми, кто проходил по коридору. В углу напротив дремал священник.

Мисс Мейбл Уоррен открыла дверь, шагнула в купе и уселась с уверенным видом, не ожидая приглашения. Она знала, что предлагает этому человеку то, чего он жаждет, — известность, а сама-то не получает ничего равноценного взамен. Не было нужды обращаться к нему вкрадчиво, завлекать его намеками, как она старалась завлечь доктора Циннера, ведь она могла оскорбить его безнаказанно, ибо от прессы зависела продажа его книги.

— Вы мистер Куин Сейвори? — спросила она и краем глаза увидела, что священник застыл в позе, преисполненной уважения и интереса. «Осел несчастный, — подумала она, — тебя поражает тираж в сто тысяч, а мы продаем два миллиона, в двадцать раз больше людей услышат завтра о докторе Циннере». — Я представляю «Кларирон». Хочу получить интервью.

— Меня это как-то застало врасплох, — сказал Сейвори, высовывая подбородок из воротника пальто.

— Не надо нервничать, — привычно произнесла мисс Уоррен. Она достала из сумочки блокнот и щелчком открыла его. — Просто несколько слов для английских читателей. Путешествуете инкогнито?

— О нет, нет, — запротестовал Сейвори. — Я ведь не член королевской семьи.

Мисс Уоррен начала писать.

— Куда вы едете?

— Ну, прежде всего, в Константинополь, — сказал Сейвори, лучезарно улыбаясь, польщенный интересом к нему мисс Уоррен. Но интерес ее уже снова сосредоточился на «Бедекере», на небрежно начертанных геометрических фигурах. — Потом, может быть, в Анкару, на Дальний Восток, в Багдад, в Китай.

— Пишете книгу путешествий?

— О нет, нет! Мои читатели ждут роман. Он будет называться «Поехали за границу». Приключения веселого кокни. Эти страны, их цивилизация, — он сделал рукой круг в воздухе, — Германия, Турция, Аравия, они будут иметь второстепенное значение для главного героя, владельца табачной лавочки в Лондоне. Понимаете?

— Конечно, — ответила мисс Уоррен, быстро записывая: «Доктор Ричард Циннер, один из крупнейших революционных деятелей послевоенного времени, находится на пути на родину, в Белград. В течение пяти лет мир считал его умершим, но все это время он жил и работал учителем в Англии, ожидая благоприятной ситуации». «А какой?» — размышляла мисс Уоррен. — Ваше мнение о современной литературе? — спросила она. — О Джойсе, Лоренсе и всех прочих?

— Все это преходящее, — быстро ответил Сейвори, словно сочинил эпиграмму.

— Вы верите в Шекспира, Чосера, Чарльза Рида и им подобных?

— Эти будут жить, — торжественно произнес Сейвори.

— А богема? В это вы верите? Таверна Фийроя? — «Был выдан ордер на его арест, — писала она, — но им нельзя было воспользоваться до окончания судебного процесса. Когда суд закончился, доктор Циннер исчез. Полиция вела наблюдение за всеми вокзалами и останавливала каждый автомобиль. Неудивительно, что быстро распространился слух, будто

Циннер убит правительственными агентами». — Вы не сторонник необходимости эксцентрично одеваться, носить черную шляпу, бархатную куртку и прочее?

— Думаю, это пагубно, — сказал Сейвори. Теперь он чувствовал себя весьма свободно и, продолжая говорить, украдкой поглядывал на священника. — Я не поэт. Поэт — индивидуалист. Может одеваться как хочет, он зависит только от самого себя. Прозаик зависит от других людей, он обычный человек, обладающий способностью выражать свои мысли. Он же ж наблюдатель, — добавил Сейвори с неожиданной театральностью, разбрасывая направо и налево звуки «ж». — Он же ж должен все видеть и оставаться ж незаметным. Если ж люди узнают его, то ни за что же ж не станут говорить открыто, а начнут перед ним же ж выламываться, он же ж ничего не узнает.

Карандаш мисс Уоррен мчался по бумаге. Теперь, когда она подтолкнула его к разговору, ей можно было быстро все обдумать — ответов на вопросы не требовалось. Ее карандаш выводил бессмысленные закорючки, отдаленно похожие на стенографию, — нужно было убедить Сейвори в том, что его высказывания записываются полностью; но под прикрытием этих каракуль — черточек, кружков и квадратиков — мисс Уоррен погрузилась в размышления. Она обдумывала все, касающееся «Бедкера». Издание 1914 года, но состояние отличное, им почти не пользовались, если не считать той части, которая имела отношение к Белграду: план города так часто разворачивали, что он оторвался от корешка.

— Вы ведь поддерживаете эти взгляды? — с тревогой спросил Сейвори. — Они имеют большое значение. Я их считаю критерием литературной целостности. Понимаете ли, можно же ж их придерживаться и в то же ж время распродавать сотню тысяч экземпляров.

Мисс Уоррен, раздосадованная тем, что ее отвлекают, еле удержалась от возражений: «Вы что же, полагаете, мы могли бы продавать по два миллиона экземпляров газеты, если бы говорили правду?»

— Очень интересно, — сказала она. — Публика заинтересуется. А теперь, каков, по вашему мнению, ваш собственный вклад в английскую литературу? — Она ободряюще улыбнулась и ткнула в него карандашом.

— Это, право же ж, кто-то другой должен определить, но всякий же ж надеется... всякий же ж надеется, всякий надеется, всякий делает что-то ж, чтобы возродить добродушие и здравый дух в современной прозе. В ней слишком много самосозерцания, слишком много мрачного. В общем-то мир — приятное, населенное отважными людьми место. — Костлявая рука, державшая трубку, беспомощно постукивала по колену. — Нужно возродить дух Чосера. — По коридору прошла какая-то женщина, и на миг все внимание Сейвори сосредоточилось на ней, он словно плыл следом за нею, покачиваясь, покачиваясь, покачиваясь в такт со своей рукой. — Чосер, — повторил он, — Чосер. — И вдруг пыл его иссяк прямо на глазах у мисс Уоррен, трубка упала на пол, и, наклонившись, чтобы отыскать ее, он гневно воскликнул: — К черту все! К черту!

Это был человек перетрудившийся, раздраженный тем, что играет не свою роль, охваченный любопытством и вожделием, человек, близкий к истерике. Мисс Уоррен злорадствовала. Не то чтобы она ненавидела его лично, ей ненавистен был всякий чрезмерный успех, будь это продажа ста тысяч экземпляров книги или достижение скорости триста миль в час: во всех таких случаях она брала интервью, а достигший успеха снисходительно давал его. Неудачник же, полностью сокрушенный, — это другое дело, тут она выступала от имени карающего общества, проникала в тюремные камеры, номера роскошных отелей, бедные жилища на задворках. Тут человек в ее власти, он загнан между пальмами в горшках и пианино, прижат к свадебной фотографии и мраморным часам; она даже могла симпатизировать своей жертве, задавать ей пустячные, интимные вопросы, почти не слушая ответов. «Да, не очень-то глубокая пропасть отделяет мистера Куина Сейвори, автора

«Развеселой жизни», от такого неудачника», — с удовольствием думала она.

— Здоровый дух, — это ваше признание? — ухватившись за его слова, спросила она. — Никаких там «только для взрослых»? Вас выдают в награду за успехи в школе.

Насмешка ее прозвучала слишком явно.

— Я горжусь этим, — сказал он. — Молодое поколение воспитывается же ж на здоровых традициях.

Она заметила его пересохшие губы, взгляд, украдкой брошенный в сторону коридора. «Это я включу, насчет здоровых традиций, — подумала она, — публике понравится, Джеймсу Дугласу понравится, им это еще больше будет нравиться, когда он докатится до оратора в Гайд Парке, ведь вот во что он превратится через несколько лет. Я доживу до этого и напомню им». Она гордилась своей способностью предвидеть, но еще не дожила до того, чтобы хоть одно ее предсказание сбылось. «Посмотрите на него сейчас: на его морщинки — признаки плохого здоровья, на тон его голоса, жест — все это откроет обыкновенному наблюдательному человеку не больше, чем черточки и кружочки в «Бедекере», но сопоставьте все с окружением этого человека, с его друзьями, обстановкой, домом, где он живет, и увидите будущее, уготованную ему жалкую судьбу».

— Господи, я все поняла! — воскликнула мисс Уоррен.

Сейвори вскочил с места:

— Что вы поняли? Про зубную боль?

— Нет, нет, — сказала мисс Уоррен. Она была ему признательна: благодаря его речам ее сознание озарилось светом, не оставляющим ни одного укромного уголка, где бы мог спрятаться от нее доктор Циннер. — Я имела в виду это замечательное интервью. Я просто поняла, как вас нужно преподносить.

— Я увижу корректуру?

— Ах, мы не еженедельная газета. Наши читатели ждать не могут. Они, знаете, как голодные, требуют своего бифштекса из знаменитости. Для корректуры времени нет. Лондонцы будут читать это интервью завтра за утренним кофе.

И, убедив его в том, что интервью вызовет интерес читателей, мисс Уоррен удалилась. Ей гораздо больше хотелось бы подсказать этому переутомленному мозгу, уже схватившемуся за мысль о новом полумиллионе популярных книг, как забывчивы люди, как они сегодня покупают что-то, а завтра станут смеяться над своей покупкой. Но у нее не было времени, ее призывала более крупная игра — она полагала, что уже разгадала тайну «Бедекера». На это ее подтолкнули размышления над собственными пророчествами. План свободно вынимался, бумага в «Бедекере», как она помнила, была тонкая и достаточно прозрачная; если подложить план под карандашные пометки на предыдущей странице, линии будут видны насквозь.

«Боже мой, не всякий до такого додумается, — размышляла она. — За это следует выпить. Найду-ка я пустое купе и вызову официанта». Ей не нужна была даже Джанет Пардоу, чтобы разделить ее торжество; она предпочитала побыть в одиночестве, с рюмкой Курвуазье, там, где ничто не отвлекало бы ее от обдумывания следующего хода. Но, даже найдя пустое купе, она продолжала действовать осторожно: не вытаскивала «Бедекера» из-под блузки до тех пор, пока официант не принес ей коньяк. И даже тогда сделала это не сразу. Она поднесла рюмку к ноздрям, позволяя винным парам достичь того места, где мозг, по-видимому, соединяется с носом. Алкоголь, который она поглощала накануне вечером, не весь

испарился. Он шевелился в ней, как земляной червяк в жаркий сырой день. «Голова кружится, — подумала она, — у меня голова кружится». Сквозь рюмку с коньяком она видела окружающий мир, такой однообразный и привычный, что казалось, он навсегда останется неизменным: ухоженные поля, деревья, маленькие фермы. Ее глаза, близорукие и воспалившиеся от одного только запаха коньяка, не замечали изменившихся подробностей, но она смотрела на небо, серое и безоблачное, и на неяркое солнце. «Ничего удивительного, если пойдет снег», — подумала она и проверила, полностью ли открыт кран отопления. Затем достала из-под блузки «Бедекер». Поезд довольно скоро прибудет в Нюрнберг, и ей хотелось все решить до того, как появятся новые пассажиры.

Ее догадка была верной, это уж, во всяком случае, точно. Когда она стала рассматривать на свет план и страницу с отметками, черточки легли вдоль улиц, кружочки обвели общественные здания: почтамт, вокзал, суд, тюрьму. Но что все это означало? Раньше она предполагала, что доктор Циннер возвращается, чтобы стать чем-то вроде наглядного примера, может быть, предстать перед судом за лжесвидетельство. Но при такой версии план не имел никакого смысла. Она снова внимательно его изучила. Улицы были отмечены не случайно, тут существовала какая-то система: группа квадратов точно располагалась вокруг главного квадрата, совпадавшего с районом трущоб. Квадрат на одной стороне главного совпадал с вокзалом, на другой — с почтой, на третьей — с судом. Внутри квадратики становились все меньше и меньше и, в конце концов, окружали только тюрьму.

По обеим сторонам поезда круто поднимался откос, он заслонил солнечный свет; искры, красные на фоне хмурого неба, словно град, стучали по окнам, темнота заполнила вагоны, когда длинный поезд с ревом ворвался в туннель. «Революция, по меньшей мере революция», — думала она, все еще держа план на уровне глаз, чтобы не упустить возвратившийся свет.

Рев утих, вдруг снова стало светло. В дверях стоял доктор Циннер с газетой под мышкой. На нем опять был плащ, и она окинула презрительным взглядом его очки, седые волосы, неаккуратно подстриженные усы и узкий, туго завязанный галстук. Она отложила план и сказала с усмешкой:

— Ну и как?

Доктор Циннер вошел в купе и затворил дверь. Без всякого признака неприязни он сел напротив нее. «Он понимает, что я поставила его в безвыходное положение, и намерен вести себя благоразумно», — подумала она.

— Ваша газета одобрила бы такое? — вдруг спросил он.

— Конечно, нет, меня завтра же выставили бы. Но когда они получают мой материал, дело обернется по-другому. — И добавила с хорошо рассчитанной наглостью: — Полагаю, за вас мне стоит прибавить четыре фунта в неделю.

Доктор Циннер сказал задумчиво, без всякого гнева:

— Я не намерен вам ничего рассказывать.

Она помахала перед ним рукой.

— Вы мне уже много чего рассказали. И вот это. — Она постучала по «Бедекеру». — Вы были учителем иностранного языка в Грейт Берчингтон-он-Си. Мы получим информацию от вашего директора. — Голова его склонилась. — А затем, — продолжала она, — есть еще этот план. И эти каракули. Я все вычислила.

Она ожидала, что он запротестует, испугается или станет негодовать, но он все еще

продолжал мрачно размышлять над ее первой догадкой. Его поведение озадачило ее, и на один мучительный миг она подумала: «Может, я упускаю самый главный материал? Может, главный материал совсем не здесь, а в школе на южном берегу, среди кирпичных строений, просмоленных сосновых парт, чернильниц, надтреснутых звонков и запаха мальчишеской одежды?» Эти сомнения немного сбили ее самоуверенность, она заговорила спокойно, мягче, чем собиралась, — своим хриплым голосом ей трудно было управлять.

— Мы придем к соглашению, — примирительно прорычала она. — Я здесь совсем не для того, чтобы навредить вам. Не хочу быть вам помехой. Знаете, если вы достигнете цели, ценность моей корреспонденции еще повысится. Обещаю ничего не публиковать, пока вы не подадите знак. — Она уныло добавила, словно была художником, которого уличают в том, что он рисует недоброкачественной краской: — Я не испорчу вашу революцию. Послушайте, это же будет роскошная корреспонденция.

Старость стремительно наступала на доктора Циннера. Ему казалось раньше, что в запахе просмоленной сосны, в скрипе мелка по классной доске он обрел пять лет передышки от тюремной камеры, и вот теперь он сидит в купе поезда, а эти отодвинувшие события годы наваливаются на него, да еще все сразу, а не постепенно. Сейчас он был похож на старика, который, засыпая, клюет носом; лицо его стало таким же мрачным, как снежные тучи над Нюрнбергом.

— Ну, прежде всего, какие у вас планы? — спросила мисс Уоррен. — Я вижу, что вы во многом зависите от труппы.

Он покачал головой:

— Я ни от кого не завишу.

— Вы всем руководите?

— Я-то уж меньше всех.

Мисс Уоррен раздраженно стукнула по колену.

— Мне нужны ясные ответы. — Но снова услышала:

— Я вам ничего не скажу.

«Ему можно дать все семьдесят, а не пятьдесят шесть, — подумала она, — он гложет, не понимает, о чем я говорю». Она была очень снисходительна, в ней укреплялась уверенность, что перед ней не олицетворение успеха — очень уж это было похоже на неудачу, а неудаче она могла посочувствовать, с неудачником она могла быть мягкой и сладкоречивой, подбадривать его короткими словами, напоминающими тихое ржание, как только неудачник начинал говорить. Слабый человек иногда уходил от нее с полным сознанием, что мисс Уоррен его лучший друг. Она наклонилась вперед и похлопала доктора Циннера по колену, вложив в свою ухмылку все дружелюбие, на которое была способна.

— Тут мы едины, доктор. Разве вы не понимаете? Послушайте, мы даже можем вам помочь. «Общественное мнение» — вот как еще называют «Кларион». Я знаю, вы боитесь, что мы проболтаемся, опубликуем корреспонденцию о вас завтра и правительство будет предупреждено. Но, говорю вам, мы не поместим ни одного абзаца, даже на полосе с книжными новинками, и намекать не допустим до тех пор, пока вы не начнете свое представление. Вот тогда я хочу получить право напечатать на редакционном развороте: «Рассказывает сам доктор Циннер. Только для «Клариона». Разве это не убедительно?

— Мне нечего сказать.

Мисс Уоррен убрала руку с его колена. «Неужели этот дурак несчастный думает, что может влезть между мною и прибавкой четырех фунтов в неделю, между мной и Джанет Пардоу», — размышляла она. Этот старый и глупый упрямец, что сидел напротив, стал для нее воплощением всех мужчин, покушавшихся на ее счастье: со своими деньгами и мелкими подачками они обхаживают Джанет, насмеваются над тем, как женщина может быть предана другой женщине. Но это воплощение мужчины в ее власти, она может уничтожить это воплощение. Когда Кромвель вдребезги разбивал статуи, это не было бессмысленным актом разрушения. Какая-то сила самой Богоматери передавалась и ее статуе, а когда голова была отбита, недоставало руки или ноги, обломаны семь мечей, вонзавшихся в ее тело, стали зажигать меньше свечей и читать не так уж много молитв у ее алтаря. Если хоть один мужчина, доктор Циннер например, будет повержен женщиной в прах, то меньше глупых девчонок, вроде Корал Маскер, станут верить в силу и ловкость мужчин. Но из-за его возраста и потому что в нос ее било исходящее от него зловоние неудачника, она предоставила ему еще одну возможность.

— Нечего?

— Нечего.

Мисс Уоррен злобно рассмеялась ему в лицо.

— Вы уже сказали много важного. — Эти слова не произвели на него впечатления, и она принялась медленно объяснять, словно обращалась к умственно отсталому: — Мы прибываем в Вену в восемь сорок вечера. До девяти я уже переговорю по телефону с нашей конторой в Кельне. Они передадут мою корреспонденцию в Лондон к десяти часам. Материал для первого лондонского выпуска не поступает в типографию до одиннадцати. Даже если сообщение задержится до трех часов утра, можно перекроить первую полосу. Мою корреспонденцию будут читать во время завтрака. К девяти утра репортер каждой лондонской газеты будет прохаживаться вокруг здания правительства Югославии. Завтра до полудня весь этот материал прочитают в Белграде, а поезд прибудет туда не раньше шести вечера. Остальное. представить себе нетрудно. Подумайте о том, что я смогу рассказать. Доктор Ричард Циннер, известный подстрекатель-социалист, пять лет назад исчезнувший из Белграда во время суда над Камнедом, едет на родину. В понедельник он сел в Восточный экспресс в Остенде; поезд прибывает в Белград сегодня вечером. Полагают, что его приезд связан с вооруженным восстанием во главе с социалистами, которое начнется в районе трущоб, где никогда не забывали имени доктора Циннера. Вероятно, будет сделана попытка захватить вокзал, почтамт и тюрьму. — Мисс Уоррен помолчала. — Вот такую корреспонденцию я отправлю телеграфом. Но если вы сообщите еще что-нибудь, я скажу им — пусть придержат ее, пока вы не разрешите. Я предлагаю вам честную сделку.

— Говорю вам, я выхожу в Вене.

— Я вам не верю.

Доктор Циннер глубоко вздохнул, разглядывая через окно ряды заводских труб и огромный черный металлический цилиндр на фоне серого, с отсветами, неба. Купе наполнилось запахом газа. На небольших огородных участках, борясь с отравленным воздухом, росла капуста, крупные кочаны сверкали от инея.

— У меня нет причин бояться вас, — произнес он очень тихо, и ей пришлось наклониться вперед, чтобы слышать его слова.

Голос его звучал приглушенно, но он был уверен в себе, и его спокойствие действовало ей на нервы. Она пыталась возражать взволнованно и со злостью, словно перед ней был преступник на скамье, подсудимых — человек, который только что рыдал, спрятавшись за папоротником в горшках, и вдруг оказалось, что у него есть запас неизвестно откуда

взявшихся сил.

— Я могу сделать с вами все, что захочу.

— Кажется, снег пойдет, — медленно произнес доктор Циннер. Поезд вползал в Нюрнберг, и в огромных паровозах, выстроившихся по обеим сторонам, отражалось напоенное влагой стальное небо. — Нет, вы ничем не можете повредить мне. — Она постучала пальцем по «Бедкеру», и он произнес с легким юмором: — Оставьте его себе на память о нашей встрече.

Тут она осознала, что ее опасения оправдываются — он ускользал от нее. Охваченная яркостью, она уставилась на него. «Если бы только я могла как-нибудь навредить ему». Ведь в зеркале за его спиной она словно видела свою удачу, воплощенную в образе Джанет Пардоу, прелестной и свободной, удаляющейся прочь по длинным улицам и холлам дорогих отелей. «Если бы я только могла навредить ему».

Ее еще больше разозлило то, что она потеряла дар речи, а доктор Циннер сохранял самообладание. Он протянул ей газету и спросил:

— Вы читаете по-немецки? Тогда прочтите вот это.

Все то время, пока поезд стоял на нюрнбергском вокзале, долгие двадцать минут, она сидела уткнувшись в газету. Сообщение, опубликованное в ней, привело ее в бешенство. Она ожидала найти там известие о каком-нибудь поразительном успехе, об отречении короля, о свержении правительства, о требовании народа вернуть доктора Циннера — это возвысило бы его до положения человека, снисходительно дающего интервью. То, что она прочла, было еще значительнее — поражение, которое полностью освобождало его из-под ее власти. Много раз ее запугивали те, кто добился успеха, и никогда еще — потерпевшие поражение.

«Вооруженное восстание коммунистов в Белграде, — читала она. — Вчера поздно ночью банда вооруженных коммунистических бунтовщиков предприняла попытку захватить вокзал и тюрьму в Белграде. Полиция была захвачена врасплох, и около трех часов бунтовщики беспрепятственно удерживали главный почтамт и товарный склад. Сегодня вся телеграфная связь с Белградом была прервана до раннего утра. Однако в два часа наш представитель в Вене говорил по телефону с полковником Хартепом, начальником полиции, и узнал, что порядок в городе восстановлен. Число восставших было невелико, и у них не было подлинного вождя; их нападение на тюрьму отбили охранники, а после этого в течение нескольких часов они оставались в здании почтамта, не проявляя никакой активности, очевидно в надежде на то, что жители населенных бедняками районов столицы придут им на помощь. Тем временем правительство смогло послать дополнительное подкрепление полиции, и с помощью взвода солдат и пары полевых орудий полицейские отбили почтамт после осады, длившейся немногим более трех четвертей часа». Это краткое сообщение было напечатано крупным шрифтом, а ниже, мелким шрифтом, было дано более подробное описание вооруженного восстания.

Мисс Уоррен сидела уставившись на газету, она слегка нахмурилась и чувствовала, что у нее пересохло во рту. Голова ее была ясной и опустошенной.

— Они выступили на три дня раньше, — объяснил доктор Циннер.

— А вы-то что еще могли бы там сделать? — огрызнулась на него мисс Уоррен.

— Эти люди пошли бы за мной.

— Они забыли о вас. Пять лет — чертова уйма времени. Молодые люди были детьми, когда вы сбежали.

«Пять лет», — думала она, представляя себе, как они неотвратно обрушатся на нее в грядущие дни, похожие на бесконечные дожди в сырую зиму; она мысленно следила за выражением лица Джанет Пардоу, встревоженной первой морщинкой, первым седым волосом или еще тем, во что превращается ее гладкая после пластической операции кожа и черные крашенные волосы, седые корни которых вылезают каждые три недели.

— Что вы теперь намерены делать? — спросила она, и его быстрый и лаконичный ответ: «Я схожу в Вене» — вселил в нее подозрение. — Вот и чудесно, выходим вместе и продолжим разговор. Теперь-то у вас не будет возражений против интервью. Если вы нуждаетесь в деньгах, наше бюро в Вене ссудит вам немного. — Она чувствовала, что он смотрит на нее пристальнее, чем раньше.

— Да, наверно, можно будет продолжить разговор, — медленно произнес он.

Сейчас она была уверена, что он лжет. «Он собирается запутать след», — думала она, но намерения его угадать было трудно. Он мог сойти только в Вене или в Будапеште, ехать дальше было бы небезопасно. Но тут она вспомнила его на судебном процессе над Камнецом: твердо уверенный в том, что никакие присяжные не признают генерала виновным, он все же давал свои опасные, но бесполезные показания, в то время как Хартеп выжидал с ордером на его арест. «Он достаточно глуп, чтобы пойти на все», — размышляла она, и ей пришло в голову, что, возможно, прикрываясь спокойствием, он уже мысленно находится на скамье подсудимых вместе со своими единомышленниками и произносит последнее слово, не спуская глаз с переполненной галереи. «Если поедет дальше, — решила она, — я тоже поеду. Я настою на своем. И добуду о нем материал». Но ее охватила странная слабость и неуверенность в себе — ведь она уже не могла больше угрожать. Глубокий старик, он был побежден, забился в угол. На пыльном полу валялась газета, и все же он одержал победу. Следя за тем, как она выходит из купе, забыв про «Бедкер» на сиденье, он ответил лишь молчанием на ее возглас:

— Увидимся снова в Вене.

Когда мисс Уоррен ушла, доктор Циннер нагнулся за газетой и задел рукавом пустой стакан, тот упал на пол и разбился. Ладонь его легла на газету, а он уставился на стакан, не в силах собраться с мыслями, не в силах решить, что же ему делать — поднять ли газету или собрать острые осколки. Затем положил аккуратно сложенную газету на колени и закрыл глаза. Подробности той корреспонденции, которую прочитала мисс Уоррен, омрачили его душу; он знал каждый поворот лестницы на почтамте, точно мог представить себе, где была сооружена баррикада. «Они растерялись, идиоты», — подумал он и постарался вызвать в себе ненависть к тем людям, которые сокрушили его надежды. А с ними уничтожили и его самого. Они бросили его в пустом доме, где никто не хотел поселиться, потому что в комнатах порой слышались голоса духов ранее обитавших там людей, и сам доктор Циннер в последнее время превратился в точно такого же духа.

Если чье-то лицо заглядывало в окошко, какой-то голос доносился с верхнего этажа или шелестел ковер, это мог быть дух доктора Циннера — все пять похороненных лет он искал возможности возвратиться к реальной жизни, он прокладывал себе путь, огибая углы парт, стоял словно дух перед классной доской и непослушными учениками, кланялся в часовне на богослужении, в силу которого в прошлой жизни никогда не верил, и молил бога, вместе с вздыхающей, разноголосой толпой, благословить его, отпустить его душу на покаяние.

Иногда казалось, что дух способен возвращаться к жизни, ибо он познал, что, и будучи духом, может испытывать страдания. У этого духа были воспоминания, он мог припомнить того доктора Циннера, которого настолько любили, что власти были вынуждены нанять убийцу, чтобы прострелить ему голову из револьвера. Воспоминанием об этом событии он больше всего гордился: однажды он сидел в пивной, в том углу парка, который облюбовали бедняки,

и услышал выстрел, разбивший зеркало за его спиной. Он расценил этот выстрел как окончательное подтверждение горячей любви к нему бедняков. Но дух Циннера, укрывавшийся в убежище, когда восточный ветер метался вдоль берега и серое море швырялось галькой, научился оплакивать эти воспоминания, а затем возвращаться в школьное здание из красного кирпича, к чаю и к детям, которые вонзали в него зазубренные стрелы страданий. После вечернего богослужения, обычных гимнов и рукопожатий дух Циннера снова соприкасался с плотью Циннера — это соприкосновение было единственным, что приносило покой. Теперь не оставалось ничего иного, как выйти в Вене и вернуться назад. Через десять дней те же голоса школьников запоят: «Боже, даруй нам твое благословение. Нам, вновь собравшимся здесь».

Доктор Циннер перевернул страницу газеты и немного почитал. Самым сильным его чувством к этим путаникам была зависть; он был не в состоянии ненавидеть, когда вспоминал подробности, которые ни один корреспондент не счел нужным приводить: человек, который выстрелил, истратив свой последний патрон, а потом его проткнули штыком около сортировочного зала, был левшой, он любил печальную, романтическую музыку Делиуса, человека, не верившего ни во что, кроме смерти. А у другого, того, что выпрыгнул из окна третьего этажа телефонной станции, была жена, искалеченная и ослепшая во время аварии на фабрике; он любил ее, но печально, без особого желания, изменял ей.

«Ну что мне остается делать?» Доктор Циннер отложил газету и стал ходить по купе: три шага к двери, три шага к окну, туда и обратно. Падали редкие хлопья снега, но ветер гнал назад, мимо окна, дым паровоза, и даже если хлопья прикасались к окну, они были уже серыми, как клочки газеты. Но футов на шестьсот выше, на холмах, склоны которых спускались к железнодорожному полотну в Нейемаркте, снег походил на клумбы белых цветов. «Если бы они подождали, если бы подождали!» — думал доктор Циннер, и мысли его вернулись от погибших к тем, которые выжили и должны предстать перед судом. Он понял, что легкого пути спасения для него быть не может, и это так потрясло его, что он взволнованно прошептал: «Я должен ехать к ним». — «Ну а какой от этого толк?» Он снова сел и начал спорить сам с собой, доказывая, что такой поступок принесет реальную пользу. «Если я сдамся и предстану перед судом вместе с ними, мир прислушается к моему последнему слову так, как никогда не стал бы слушать меня, находишься я в безопасности в Англии». Созревшее в нем решение подбодрило его, надежда становилась крепче. «Люди поднимутся, чтобы спасти меня, хотя и не поднимались во имя спасения других», — думал он. Дух Циннера опять становился земным существом, и теплые чувства растопляли его застывшую отрешенность от жизни.

Но надо было многое обдумать. Прежде всего следует отвязаться от корреспондентки. Он должен ускользнуть от нее в Вене; тут затруднений не будет: поезд прибывает не ранее чем около девяти, а она наверняка к этому позднему часу уже напьется. Он слегка вздрогнул от холода и от мысли о дальнейшем общении с этой опасной женщиной, о ее хриплом голосе. «Ну что ж, ее жало выдернуто», — подумал он, беря в руки «Бедекер» и не удерживая газету, соскользнувшую на пол. «Похоже, она ненавидит меня, интересно — за что? По-видимому, тут какая-то непонятная профессиональная гордость. Мне, пожалуй, надо вернуться в свое купе». Но, дойдя до купе, он продолжал шагать по коридору, заложив руки за спину, с «Бедекером» под мышкой, захваченный мыслью о том, что годы жизни, когда главенствовал дух, кончились. «Я снова живой, — думал он, — ибо я отдаю себе отчет в том, что, скорее всего, меня ожидает смерть, то есть почти наверняка: вряд ли мне снова дадут избежать ее, если я стану защищать себя и остальных пусть даже ангельскими речами». Знакомые лица оборачивались к нему, когда он проходил мимо, но никому не удавалось прервать его раздумья.... «Мне страшно, — повторял он себе, ликуя, — мне страшно».

— Тот самый Куин Сейвори? — спросила Джанет Пардоу.

— Ну, другого я не знаю, — сказал Сейвори.

— «Развеселый вихрь»?

— «Жизнь», — резко поправил ее Сейвори. — «Развеселая жизнь». — Он взял ее под локоть и начал продвигать вперед по коридору. — Самое время выпить шерри. Подумать только, вы родственница той женщины, которая брала у меня интервью. Дочь? Племянница?

— Как вам сказать? Не совсем родственница. Я ее компаньонка.

— Вот это ни к чему. — Пальцы Сейвори плотнее сомкнулись вокруг ее руки. — Найдите другую работу. Вы слишком молоды. Это же ж вредно для здоровья.

— Вы совершенно правы, — произнесла Джанет Пардоу; на минуту остановившись, она повернулась к нему и взглянула на него глазами, сияющими от восхищения.

Мисс Уоррен писала письмо, но видела, как они прошли мимо. На коленях у нее лежал блокнот, вечное перо прыгало по бумаге, брызгая чернилами и выкусывая глубокие дыры.

«Дорогой кузен Кон, — писала она. — Пишу тебе письмо просто от нечего делать. Пишу из Восточного экспресса, хотя в Константинополь я не еду, выхожу в Вене. Но сейчас не об этом! Можешь ли ты купить мне пять ярдов шелкового бархата для портьер? Розового. Я снова буду делать ремонт в квартире, пока Джанет отсутствует. Она в этом же поезде, но мы расстанемся в Вене. Хорошенькая работенка — охотиться за противным стариком почти по всей Европе. «Развеселая жизнь» тоже в этом поезде, но ты ведь, понятно, книг не читаешь. И довольно милая маленькая танцовщица по имени Корал, которую я подумываю взять себе в компаньонки. Все никак не могу решить, отремонтировать ли мне квартиру. Джанет говорит, что проездит всего неделю. Ни в коем случае не плати больше, чем по восемь — одиннадцать за ярд. Мне, думаю, подойдет и голубой, но не синий, конечно. Человек, о котором я упомянула, — писала мисс Уоррен, следя глазами за Джанет Пардоу и протыкая пером бумагу, — думает он умнее меня, но ты ведь знаешь, Кон, не хуже, чем я, что я могу черт-те что устроить любому, кто так думает. Джанет — шлюха. Я подумываю взять новую компаньонку. В этом поезде едет маленькая актриса, она подошла бы мне. Посмотрел бы ты на нее, Кон, — прелестная фигурка. Ты бы тоже залюбовался ею. Не очень хорошенькая, а ноги красивые. Я все-таки думаю, нужно привести квартиру в порядок. Да, вот что. Можешь давать за тот бархат на портьеры десять — одиннадцать, но не больше. Возможно, я поеду до Белграда, так что подожди, пока я снова не дам знать. Джанет, кажется, строит куры этому типу Сейвори, но я и ему могу черт-те что устроить, если захочу. До свиданья, береги себя. Передай привет Элси. Надеюсь, она лучше за тобой ухаживает, чем Джанет за мной. Ты всегда был удачливей меня, но вот когда увидишь Корал... Ради бога, не забудь про этот бархат на портьеры.

С любовью,

Мейбл.

P. S. Ты слышал, что дядя Джон на днях скорострительно скончался почти у моего порога?»

Перо мисс Уоррен завершило письмо огромной черной кляксой. Она обвела ее жирной линией и написала: «Извиняюсь». Затем вытерла перо о юбку и нажала звонок, вызывающий официанта. Во рту у нее страшно пересохло.

Корал Маскер постояла в коридоре, наблюдая за Майетом и раздумывая над тем, серьезным ли было предложение Мейбл Уоррен. Майетт сидел склонив голову над кипой бумаг, карандаш его бегал вверх и вниз по столбцам чисел, все время возвращаясь к одной и той же цифре. Затем он положил карандаш и охватил голову руками. На миг она почувствовала жалость и в то же время благодарность. Когда не было видно его пронизательных глаз, он мог сойти за школьника, отчаянно трудившегося над домашним заданием, которое никак не получалось. Она заметила, что он снял перчатки, чтобы удобнее было держать карандаш, и его пальцы посинели от холода; даже шикарное меховое пальто казалось ей жалким — от него не было никакой пользы. Пальто не могло решить его задачек или согреть ему пальцы.

Корал открыла дверь и вошла. Он поднял глаза и улыбнулся, не переставая работать. Ей хотелось отобрать у него работу, подсказать ему правильное решение и предупредить: учитель не должен догадаться, что ему помогали. «А кто ему помогал? Мать? Сестра? Конечно, уж не такая дальняя родственница, как двоюродная сестра», — размышляла она, усаживаясь; ее непринужденное молчание свидетельствовало о том, как они близки друг другу.

Когда ей надоело следить через окно за надвигающимся снегопадом, она заговорила с ним:

— Вы сказали, что я могу прийти сюда, когда захочется.

— Конечно.

— Я чувствовала себя просто скотиной — вдруг ушла, даже не поблагодарила вас как следует. Вы были так добры ко мне вчера вечером.

— Я и представить себе не мог, что вы останетесь в купе с тем мужчиной, когда вам стало плохо, — сказал он, нетерпеливо постукивая карандашом. — Вам нужно было хорошенько выспаться.

— Но почему вы так интересуетесь мной?

И услышала роковой, неотвратимый ответ:

— Мне кажется, я очень хорошо вас знаю.

Он тут же вернулся бы к своей работе, если бы не ее горестное молчание. Она видела, что он обеспокоен, удивлен и немного смущен. «Он считает, что я хочу заставить его спать со мной, — подумала она и сразу же задала себе вопрос: — А я хочу? Хочу?» Если бы он слегка взъерошил ее волосы, быстро расстегнул платье, прильнул губами к ее груди, то стал бы совсем похож на тех других молодых людей, которых она знала. «Я в долгу перед ним, и мне нужно ему это позволить», — думала она, но опыт других женщин снова напомнил ей о том, что долг ее гораздо больше. «Но как я могу заплатить, — размышляла она, — если он не настаивает на оплате?» И сама мысль о том, чтобы предаться этому незнакомому делу, когда она не пьяна, как, по ее догадкам, были пьяны другие женщины, не пылала страстью, а просто испытывала благодарность, бросала ее в холод сильнее, чем вид падающего снега. Она даже хорошенько не знала, как тут вести себя, следует ли оставаться с ним всю ночь, нужно ли все с себя снимать в этом холодном купе. Но тут же принялась утешать себя мыслью о том, что он, подобно другим ее знакомым, удовольствуется малым, он просто более щедр.

— Прошлой ночью я видел вас во сне, — сказал Майетт. Произнося эти слова, он пристально смотрел на нее; по его напряженной позе и по тому, как он неправильно истолковал ее молчание, она поняла: в общем-то они мало знают друг друга. Он нервно засмеялся. — Мне приснилось, что я заехал за вами и пригласил прокатиться, и тут вы собрались... — Потом замолчал в раздумье и не закончил фразу. — Вы меня взволновали.

На нее напал страх. Казалось, это ростовщик перегнулся через свою конторку и мягко, но неумолимо повел разговор об уплате долга.

— Это ведь во сне, — сказала она.

Но он не обратил внимания на ее слова.

— А потом мимо прошел проводник и разбудил меня. Во сне все было как наяву. Я так взволновался, что заплатил за ваш билет.

— Вы хотите сказать, что подумали... что собирались...

Ростовщик пожал плечами, ростовщик снова сел за конторку, ростовщик позвонил слуге и велел проводить ее на улицу, к людям, к свободе, туда, где ее никто не знал.

— Я просто рассказал вам об этом, чтобы вы не беспокоились — вы ничем мне не обязаны. Это сон на меня повлиял. А когда купил билет, то подумал, почему бы вам не воспользоваться им. — Затем он взял карандаш и вернулся к своим бумагам, добавив машинально, не придавая словам значения: — Такой уж я тщеславный, подумал, за десять фунтов...

Сначала смысл этих слов не дошел до нее. Она была слишком смущена тем, что ее освободили, и ей стало даже обидно, что ее желают только во сне, а главное, она была так благодарна ему. И вдруг прозвучали последние слова, в них слышалось нечто похожее на смирение — такое было ей незнакомо. Она осознала, как боится этой сделки, и, протянув руку, дотронулась до лица Майетта — этот жест, выражающий благодарность, был позаимствован ею из известных лишь по рассказам любовных отношений.

— Если вы хотите, чтобы я... — сказала она. — Мне показалось, что вам со мной скучно. Мне прийти ночью?

Она положила руки на бумаги у него на коленях, предлагая себя с чарующей и трогательной неуверенностью; косточки пальцев ее маленьких, широких рук густым слоем покрывала пудра, кончики ногтей были покрашены красным, они прикрыли ряды цифр, расчеты Экмана, его увертки и хитрости.

Мысли его никак не могли оторваться от того, как Экман лавирует среди тайных ходов.

— Мне показалось, что я вам неприятен, — медленно произнес он, поднимая ее руки с бумаг. И добавил неуверенно: — Может быть, из-за того, что я еврей?

— Вы просто устали.

— Здесь есть что-то, чего я не могу уловить.

— Отложите это до завтра.

— У меня нет времени. Мне надо с этим покончить. Мы ведь не стоим на месте.

Но на самом деле всякое ощущение движения пропадало из-за снега. Он падал так густо, что скрывал от них телеграфные столбы. Она убрала руки и спросила его с обидой в голосе:

— Значит, вы не хотите, чтобы я приходила?

Спокойное дружелюбие, с которым он встретил вопрос, поубавило ее благодарность. Но движение девушки пробудило в нем ту особенность характера, которую она иногда и раньше замечала, — ни один еврей не позволит отобрать у него то, за что он опрометчиво заплатил.

— Хочу. Приходите. Приходите ночью, — сказал Майетт. Он сжал ее руки, сначала легко, а потом сильнее. — Не думайте, что я холодный. Просто у меня ощущение — мы так близко знаем друг друга. Будьте же хоть немножко неведомой, — умоляюще попросил он.

Но она не могла сразу сообразить, как притвориться, и просто согласилась с ним:

— Да, я тоже это чувствую.

Добавить было нечего, и они, точно старые друзья, сидели и молчали, без волнения думая о предстоящей ночи. Ее пыл, вызванный благодарностью, испарился; теперь эта благодарность казалась ненужной, да и непрошеной. Ведь не испытываешь благодарности к такому давнему знакомому, просто принимаешь одолжение и сама делаешь одолжение, поговоришь немножко о погоде, не протестуешь, когда тебя приласкают, но и равнодушие тебя не огорчает, а если, танцуя, увидишь его в партере, улыбнешься ему раз или два — ведь нужно же что-то делать со своим лицом, оно такое некрасивое, а мужчинам нравится, когда их узнают со сцены.

— Снег идет все сильнее.

— Да. Ночью будет холодно.

Нужно улыбнуться, если шутка была двусмысленной, и ответить как можно игривей, раз имеешь дело с таким старым другом: «Нам будет тепло», хоть ты не в состоянии забыть, что ночь приближается, и вспоминаешь все то, о чем подружки рассказывали, какие давали советы, от чего предостерегали, чем приводили в смущение, как противно было слышать, что мужчина бывает одновременно и равнодушен, и похотлив. Все утро и во время обеда шел снег; в Пассау он толстым слоем покрывал крышу таможни, на путях снег таял от паровозного пара, превращаясь в серые, полные льдинок ручейки. Австрийские таможенники в резиновых сапогах осторожно выбирали дорогу, они, тихо перебраниваясь, поверхностно осматривали багаж.

ЧАСТЬ III.

ВЕНА

I

Йозеф Грюнлих передвинулся к надветренной стороне трубы, снег на крыше вокруг него лежал кучами. Внизу, подобно костру во тьме, сверкал вокзал. Заверещал свисток, и, медленно двигаясь, появилась длинная цепь огоньков; он взглянул на свои часы, когда вокзальные пробили девять. «Это Стамбульский экспресс, — подумал он. — Опаздывает на двадцать минут, может, задержался из-за снегопада». Он подвел свои плоские серебряные часы и снова засунул их в жилетный карман, расправив складки на округлившемся животе.

«Ну, в такую ночь, как эта, неплохо быть жирным». Прежде чем застегнуть пальто, Грюнлих засунул руки между кальсонами и брюками и поправил револьвер, который висел внутри штанины на шнурке, обмотанном вокруг пуговицы. «Йозефу можно доверять в трех случаях, — самодовольно рассуждал он сам с собой, — женщина, еда и прибыльное дельце со взломом». Он отошел от укрывавшей его трубы.

Крыша была очень скользкая, это представляло некоторую опасность. Снег слепил глаза. На ботинках он превращался в ледяные наросты. Один раз Грюнлих поскользнулся, и перед ним, словно рыба, поднывавшаяся из темной воды, всплыл освещенный навес кафе. «Святая Мария, преисполненная благодати», — прошептал он, зарывшись каблуками в снег и пытаясь ухватиться за что-нибудь. Край водосточного желоба спас его, он поднялся на ноги и тихо засмеялся — не к чему сердиться на природу. Немного погодя он отыскал железные поручни пожарной лестницы.

За этим последовал спуск, он был, по его мнению, самой опасной частью всего дела, ибо, хотя лестница спускалась по задней стене жилого дома и ее не было видно с улицы, она выходила на товарный склад, а там был конец полицейского обхода. Полицейский появлялся каждые три минуты, тусклая лампа на углу склада отражалась в его черных начищенных крагах, кожаном ремне и кобуре револьвера. Глубокий снег заглушал звук шагов, и Йозеф не мог рассчитывать на то, что по шагам он узнает о приближении полицейского, но тиканье часов заставляло его все время помнить об опасности. Низко пригнувшись наверху лестницы, обеспокоенный тем, что его видно на белом фоне, он подождал, пока полицейский появился и снова исчез. Затем начал слезать. Ему нужно было миновать только один необитаемый этаж, но когда он достиг окошка верхнего этажа, то попал в луч света и услышал свиток. «Разве меня можно поймать? — засомневался он. — Меня ведь ни разу не поймали. Со мной такого не бывает». Повернувшись спиной к окну, он ждал или окрика, или пули, а в уме будто зашевелились хорошо смазанные колесики: одна мысль зацеплялась за другую и приводила в движение третью. Когда ничего не произошло, он повернул лицо от лестницы и глухой стены — двор был пуст, свет исходил от лампы, которую кто-то принес на чердак склада, а свисток был одним из того множества звуков, которые раздаются на станции. Из-за своей оплошности он потерял драгоценные секунды и теперь стал смело спускаться, не думая о своих обледеневших ботинках и шагая через две перекладки.

Добравшись до следующего окна, он постучал. Ответа не последовало, и он тихо выругался, не спуская глаз с того угла склада, откуда очень скоро должен был появиться полицейский. Он снова постучал и на этот раз услышал шарканье просторных шлепанцев. Оконная задвижка отодвинулась, и женский голос спросил:

— Антон, это ты?

— Да, — ответил Йозеф, — это Антон. Быстро впусти меня. — Занавеску отдернули, и тощая рука начала тянуть к себе верхнюю раму. — Нижнюю, — зашептал Йозеф. — Зачем верхнюю? Ты, видно, думаешь, я акробат. — Когда раму подняли, он с проворством, неожиданным для такого толстяка, шагнул с пожарной лестницы на подоконник, но протиснуться в комнату ему было нелегко. — Ты что, не можешь поднять раму еще на дюйм?...

Какой-то паровоз прогудел три раза, и его мозг непроизвольно определил значение этого сигнала: отправился тяжелый товарный поезд. Затем он влез в комнату, женщина закрыла окно, и шум, доносившийся со станции, утих.

Йозеф стряхнул снег с пальто, вытер усы и взглянул на часы: пять минут десятого, поезд на Пассау отойдет не раньше чем через сорок минут, а билет у него уже есть. Повернувшись спиной к окну и к женщине, он украдкой оглядел комнату: вещи оставались на тех же местах, где их зафиксировала его память, — тот же кувшин и миска на умывальнике

красновато-коричневого цвета, расколотое зеркало в позолоченной рамке, железная кровать, ночной горшок, картинка с религиозным сюжетом.

— Окно лучше оставить открытым. На случай, если твой хозяин вернется.

— Не могу, ох, не могу! — произнес тонкий, испуганный голос.

Он повернулся к ней и сказал с дружелюбной насмешкой:

— Ух ты какая скромница, Анна, — и стал разглядывать ее пронизательным, опытным взглядом.

Они были одного возраста, но она не обладала его опытом; тощая, взволнованная, стояла она у окна, ее черная юбка лежала поперек кровати, но черная блузка с белым воротничком, какие носят прислуги, все еще была надета на ней. Она держала перед собой полотенце, прикрывая им ноги.

Он насмешливо смотрел на нее.

— Ух ты какая милашка, Анна.

Рот ее раскрылся, и она, словно замороженная, в молчании уставилась на него. Йозеф с отвращением заметил, какие у нее кривые и тусклые зубы. «Что бы еще ни пришлось мне делать, — думал он, — целоваться с ней я не буду». Она, без сомнения, ожидала его объятий, ее скромность превратилась в отталкивающее кокетство пожилой женщины, на него ему приходилось отвечать. Присев на край широкой кровати так, чтобы она разделяла их, он начал говорить с ней детским языком:

— Ну и кто же к ней пришел, к нашей милашке Анне? Замечательный большой дядя? Ох как он ее потискает! — Потом игриво погрозил ей пальцем: — Мы одни, Анна. Мы с тобой еще повеселимся. А? — Покосившись украдкой на дверь, он с облегчением заметил, что она не заперта; с нее могло статься, эта старая сука была способна запереть дверь и спрятать ключ. Но его багровая жирная физиономия не выражала ни озабоченности, ни отвращения. — Ну как?

Она улыбнулась и глубоко, со свистом вздохнула:

— Ох, Антон.

Он вскочил на ноги, а она уронила полотенце и в черных бумажных чулках засеменила к нему мелкими птичьими шагами.

— Минуточку, — произнес Йозеф.

Он, словно защищаясь, поднял руку в ужасе от той существующей с незапамятных времен похоти, которую сам разбудил в ней. «Мы оба не из красивых», — подумал он, а присутствие бело-розовой Мадонны превращало эту сцену в намеренное богохульство. Настойчивым шепотом он остановил ее:

— Ты уверена, что в квартире никого нет?

Лицо ее покраснело, словно он начал грубо к ней приставать.

— Нет. Антон, мы совсем одни.

Мозг Йозефа снова четко заработал; его всегда смущали только простые человеческие отношения, а когда возникала опасность или нужно было действовать, ум его становился

надежным, как проверенная и смазанная машина.

— Где сумка, которую я тебе отдал?

— Вот здесь, Антон, под кроватью.

Она вытащила небольшую черную докторскую сумку, он потрепал ее по подбородку и сказал, что у нее прелестные глаза.

— Раздевайся — и в постель, — приказал он. — Я вернусь к тебе через минутку.

Прежде чем она принялась спорить или требовать объяснений, он на цыпочках проворно проскользнул в дверь и закрыл ее за собой. Оглядевшись, он тут же нашел стул и засунул его ножку за ручку двери так, чтобы ее невозможно было открыть изнутри.

Комната, где находился Йозеф, была знакома ему по предыдущему посещению. Она представляла собой помесь конторы со старомодной гостиной. Там стояли письменный стол, красный плюшевый диван, вращающийся стул, несколько разрозненных столиков; две-три большие гравюры девятнадцатого века изображали детей, играющих с собаками, и дам, перегнувшихся через садовые изгороди. Одну стену почти полностью занимала огромная схема центральной станции с платформами, товарными складами, стрелками и сигнальными будками — она была испещрена разноцветными пометками. Сейчас очертания мебели были смутно различимы в полутьме. Тени от горящих фонарей падали на потолок и на зажженную настольную лампу, они, словно мебельные чехлы, лежали повсюду. Йозеф ударился ногой об один из столиков и чуть не опрокинул пальму. Он негромко выругался, и тут из спальни послышался голос Анны:

— Что там такое, Антон? Что ты делаешь?

— Ничего, ничего. Вернусь к тебе через минутку. Твой хозяин не погасил свет. Ты уверена, что он не вернется?

Она начала кашлять, но между приступами кашля сообщила:

— Он на дежурстве до полуночи. Антон, ты скоро?

Йозеф поморщился:

— Анна, милочка, я просто кое-что с себя снимаю.

Через открытое окно в комнату врвался дорожный шум, беспрестанно гудели автомобили. Йозеф высунулся наружу и окинул взглядом улицу. Такси, нагруженные пассажирами и багажом, неслись во всех направлениях, но он не смотрел ни на такси, ни на мерцающие в небе рекламы, ни на звенящее стаканами кафе как раз под ним. Он разглядывал тротуары внизу: там было мало прохожих — настал час ужина, театра, кино. Полицейский не показывался.

— Антон!

— Замолчи! — огрызнулся он и задернул шторы, чтобы его не было видно из какого-нибудь дома на другой стороне.

Он точно знал, что сейф вделан в стенку; нужно было только один раз поужинать с Анной в кафе, сводить ее в кино, несколько раз выпить с ней — и все сведения получены. Но он побоялся спросить у нее про комбинацию цифр, она могла догадаться, что не только из-за ее прелестей он лезет в темноте по обледенелой крыше к ней в комнату. Из книжного шкафчика за письменным столом он вынул шесть толстых томов: «Эксплуатация железных дорог». За

книгами скрывалась стальная дверца. Сознание Йозефа Грюнлиха было сейчас ясным и четким, он двигался неторопливо и уверенно. Прежде чем приняться за работу, он засек время — десять минут десятого — и рассчитал, что можно оставаться здесь еще полчаса. «Уйма времени, — подумал он и прижал мокрый большой палец к дверце сейфа, — сталь не толще чем полдюйма». Положив сумку на письменный стол, он достал инструменты. Зубила были в идеальном порядке, хорошо отполированы, с острыми концами; Йозеф гордился опрятностью своих инструментов так же, как и скоростью, с которой работает. Можно было бы взломать такую сталь «фомкой», но Анна услышит стук, а он не мог доверять ей, вдруг она раскричится. Поэтому он зажег маленькую паяльную трубку, предварительно надев темные очки, чтобы предохранить глаза от ослепляющего света. При первом же яростном взрыве пламени все предметы в комнате выступили из тьмы, жар опалил ему лицо, и стальная дверца начала шипеть, как тающее масло.

— Антон! — Женщина затрясла ручку двери в спальню. — Антон! Что ты делаешь? Зачем ты меня запер?

— Замолчи! — крикнул он ей сквозь негромкое гудение пламени.

Он слышал, как Анна ощупывает замок и поворачивает ручку. Затем она еще раз потребовала:

— Антон, выпусти меня.

Стоило ему отнять губы от трубки, как пламя уменьшалось. Надеясь на трусость этой дуры, он свирепо крикнул:

— Замолчи, или я сверну тебе шею!

С минуту все было тихо, пламя увеличилось, от жара стальная дверца из красной превратилась в белую, и тут Анна закричала изо всех сил:

— Я знаю, что ты делаешь, Антон! — Йозеф прижал губы к трубке, не обращая на Анну внимания, но следующий ее выкрик испугал его: — Ты у сейфа, Антон!

Она снова принялась греметь ручкой, и он был вынужден приглушить пламя и крикнуть ей:

— Уймись, или, как я сказал, так и сделаю. Сверну твою мерзкую шею, старая сука.

Голос ее стал тише, но он отчетливо слышал ее — должно быть, она прижала губы к скважине.

— Не надо, не надо так говорить, Антон. Послушай, выпусти меня. Мне нужно тебе кое-что сказать, предупредить тебя. — Он не ответил ей, вздувая пламя и снова доводя сталь до белого каления. — Я соврала тебе, Антон. Выпусти меня. Герр Кольбер сейчас вернется.

Он приглушил трубку и, вскочив, повернулся к двери:

— В чем дело? О чем ты?

— Я думала, ты не придешь, если узнаешь. Поласкаться-то хватило бы времени. Полчаса. А приди он раньше, мы бы могли лежать тихонько.

Мозг Йозефа быстро заработал, он не стал тратить времени на проклятья, а погасил трубку, положил ее снова в сумку вместе с зубилами, «фомкой», отмычкой и баночкой с перцем. Не раздумывая, он отказался от одной из самых легких добыч в своей воровской жизни, но он ведь всегда гордился тем, что избегает риска. Его ни разу еще не поймали. Иногда он работал с напарниками, и напарники попадались, но зла на него не держали. Они понимали,

какого выдающегося рекорда достиг Йозеф, и отправлялись в тюрьму, гордые тем, что ему удалось скрыться, а потом в разговоре с друзьями обычно так о нем отзывались: «Это же Йозеф. За пять лет ни разу не сел».

Йозеф закрыл сумку и испуганно прислушался: снаружи раздался звук, словно кто-то спустил тетиву лука.

— Что это?

— Лифт. Кто-то позвонил, вызывает вниз, — зашептала Анна через дверь.

Он взял в руки том «Эксплуатации железных дорог», но сейф был раскален докрасна, и он положил книгу на письменный стол. Снизу донесся звук захлопывающейся дверцы лифта. Йозеф отступил к портьерам и, потянув за шнурок, на котором висел револьвер, поднял его дюйма на два выше. Он подумал было, нельзя ли спастись через окно, но вспомнил, что падать придется с высоты тридцати футов на крышу кафе. Затем дверь лифта открылась и захлопнулась.

— На нижнем этаже, — шепотом сообщила через замочную скважину Анна.

«Тогда все в порядке, — подумал Йозеф. — Можно не спешить. Назад в спальню Анны, а потом по крыше. Придется ждать двадцать минут поезда на Пассау». Ножка стула, засунутая за ручку двери, застряла. Ему пришлось положить сумку и пустить в ход обе руки. Стул соскользнул на паркет и раскололся. В этот миг зажегся свет.

— Ни с места! — скомандовал герр Кольбер. — Руки вверх!

Йозеф Грюнлих сразу же подчинился приказу. Он повернулся очень медленно и за эти несколько секунд обдумал план действий.

— Я не вооружен, — тихо сказал он, пристально, с простодушным упреком глядя на герра Кольбера.

На герре Кольбере была синяя форма и круглая фуражка помощника начальника станции, он был маленький и тощий, со смуглым морщинистым лицом, старческая рука, державшая револьвер, слегка дрожала от волнения и ярости. Простодушные глаза Йозефа сузились на миг, он устремил взгляд на револьвер, определяя, под каким углом будет сделан выстрел, и прикидывая, пролетит ли пуля мимо. «Нет, — подумал он, — целиться он будет мне в ноги, а попадет в живот». Герр Кольбер стоял спиной к сейфу и пока еще не мог заметить лежащие в беспорядке книги.

— Вы не понимаете, — добавил Йозеф.

— Что вы там делаете у двери?

Лицо Йозефа все еще пылало от жаркого пламени.

— Мы с Анной... — произнес он.

— Объясни. Ну же, говори ты, негодяй! — закричал на него герр Кольбер.

— Мы с Анной приятели. Сожалею, герр управляющий, что вы меня застали. Анна пригласила меня сюда.

— Анна? — насмешливо спросил герр Кольбер. — Зачем?

Йозеф смущенно вильнул бедрами.

— Ну, герр Кольбер, вы же знаете, как это бывает. Мы с Анной приятели.

— Анна, иди сюда.

Дверь медленно отворилась, и Анна вышла из своей комнаты. Она уже надела юбку и привела в порядок волосы.

— Это правда, герр Кольбер, — сказала она, с ужасом глядя мимо него на незамаскированный сейф.

— Что с тобой? На что ты уставилась? Хорошенькое дело! Женщина твоего возраста!

— Верно, герр Кольбер, но... — Она заколебалась, и Йозеф прервал ее, не давая ей возможно, — и защищаться или обвинять его:

— Мне очень нравится Анна.

Жалкая, она с благодарностью приняла эти слова.

— Да, он так и говорил мне.

Герр Кольбер топнул ногой:

— Ты просто дура, Анна. Выверни у него карманы. Может, он у тебя деньги украл.

Ему все еще не приходило в голову взглянуть на сейф, и Йозеф стал играть предложенную ему роль мелкого воришки. Он отлично знал их хвастовство и привычку хныкать. С ними он работал, нанимал их и без сожаления смотрел, как их отправляли в тюрьму. «Карманники», — называл он их, подразумевая под этим словом людей без всякого честолюбия и сообразительности.

— Я не воровал у нее денег, — захныкал он. — Ни за что я бы на это не пошел. Мне нравится Анна.

— Выверни ему карманы.

Анна повиновалась, но руки ее заскользили по его одежде, словно лаская.

— А теперь задний карман.

— Я не ношу оружия, — сказал Йозеф.

— Задний карман, — повторил герр Кольбер, и Анна отвернула подкладку пиджака. Когда герр Кольбер убедился, что и тот карман пуст, он опустил револьвер, но его все еще трясло от старческой ярости. — Превратить мою квартиру в бордель! — закричал он. — Что ты можешь сказать в свое оправданье, Анна? Ну и дела творятся!

Анна, уставившись на пол, ломала худые руки.

— Не знаю, что на меня нашло, герр Кольбер. — Но, произнося эти слова, женщина, по-видимому, все поняла. Она подняла глаза, и Йозеф увидел, как в ее взгляде преданность уступила место отвращению, а отвращение — гневу. — Он соблазнял меня, — медленно произнесла она.

Тем временем Йозеф не спускал глаз со своей черной сумки, лежавшей на столе за спиной у герра Кольбера, с груды книг и с незамаскированного сейфа, но тревога не мешала ему думать. Рано или поздно герр Кольбер обнаружит причину его прихода, а он уже заметил около руки начальника станции звонок, возможно проведенный в квартиру швейцара.

— Могу я опустить руки, герр управляющий?

— Можешь, но стоять не шевелясь. — Герр Кольбер топнул ногой. — Я докопаюсь до правды, даже если мне придется продержаться здесь всю ночь. Не допущу, чтобы мужчины ходили сюда соблазнять мою прислугу.

Слово «мужчины» заставило Йозефа на секунду забыть об осторожности, одна мысль о том, что он мог прельстить эту поблекшую Анну, позабавила его, и он улыбнулся. Анна заметила эту улыбку и догадалась, чем она вызвана.

— Берегитесь! — крикнула она герру Кольберу. — Он не меня хотел. Он...

Но Йозеф не дал ей произнести слова обвинения.

— Я сам признаюсь. Не к Анне я пришел. Взгляните, герр Кольбер, — и махнул левой рукой в сторону сейфа.

Герр Кольбер обернулся; револьвер его был направлен в пол, и Йозеф дважды выстрелил ему в поясницу.

Анна схватилась рукой за горло и начала кричать, стараясь не глядеть на тело. Герр Кольбер упал на колени, лоб его касался пола, он дернулся между двумя выстрелами, тело его свалилось бы на бок, если бы не стена.

— Заткнись, — приказал Йозеф, но женщина продолжала кричать, тогда он схватил ее за горло и встряхнул. — Если ты не будешь молчать десять минут, я тебя тоже уложу в могилу, поняла?

Он увидел, что она потеряла сознание, и швырнул ее в кресло, затем затворил и запер окно и дверь в спальню: он опасался — вдруг Анна вернется в свою комнату, и крики ее может услышать полицейский, когда во время обхода подойдет к складу. Ключ он запихнул в унитаз с помощью ручки от швабры. В последний раз оглядев кабинет, он принял решение оставить черную сумку на письменном столе: на нем всегда были перчатки, и на сумке будут только отпечатки пальцев Анны. Жалко было терять такой замечательный набор инструментов, но он готов был принести в жертву все, подвергающее его опасности. «Даже билет в Пассау, — подумал он, взглянув на часы. — До отхода поезда еще четверть часа, нельзя так долго задерживаться в Вене». Он вспомнил об экспрессе, который видел с крыши, о Стамбульском экспрессе, и прикинул: «Могу я сесть в него без билета?» Ему не хотелось, чтобы черты его лица запомнились кому-нибудь, он даже подумал, не ослепить ли Анну «фомкой», — тогда она не сможет опознать его. Но тут же отбросил эту мысль; излишняя жестокость вызывала в нем неприязнь не оттого, что он вообще отвергал жестокость, просто он любил точность в своих действиях, не упускал ничего необходимого и не совершал ничего лишнего. Теперь, очень осторожно, стараясь не запачкаться кровью, он обшарил карманы герра Кольбера в поисках ключа от кабинета и, найдя его, минуту помедлил у зеркала, чтобы пригладить волосы и почистить шляпу. Затем вышел из комнаты, запер за собой дверь и бросил ключ за подставку для зонтов в прихожей — в этот вечер он не собирался больше лазать по крышам.

Он заколебался только тогда, когда увидел пустой лифт с открытой дверцей, но тут же решил спуститься по лестнице: в других квартирах вспомнят о шуме лифта, когда его станут разыскивать. Спускаясь по лестнице, он все время прислушивался, не слышно ли криков Анны, но кругом царил тишина. Снаружи все еще шел снег, он заглушал стук колес проезжавших подвод и шум шагов, но тишина спускалась с верхней площадки быстрее и становилась более непроницаемой, чем снег, она словно стремилась укрыть все оставленные им после себя улики: груды книг, черную сумку, опаленный сейф. Никогда прежде он не убивал человека, но, пока не нарушена тишина, он мог забыть о том, что сделал последний шаг, вознесший его на такую опасную вершину его профессии.

Двери в квартире второго этажа были открыты, и, проходя мимо, он услышал раздраженный женский голос:

— Уж такие кальсоны, говорю тебе. Ну, я не президентская дочка, и я ей сказала: «Дайте мне что-нибудь приличное». Тонкие! Ты никогда и не видел...

Йозеф Грюнлих подкрутил густые, с проседью усы и смело шагнул на улицу, посмотрев сначала в одну сторону а потом в другую, словно ожидая какого-то приятеля. Полицейского поблизости не было видно, снег с тротуаров был сметен, поэтому Грюнлих не оставлял следов. Быстро и уверенно зашагал он налево, в сторону вокзала, настороженно прислушиваясь, не доносятся ли на улицу крики, но ничего не услышал, кроме гудков такси и шелеста снега. В конце улицы, словно освещенный фасад варьете, манила к себе арка вокзала.

«Пожалуй, опасно болтаться у входа, словно ты продавец лотерейных билетов», — подумал он и мысленно снова, этаж за этажом, проделал путь от самого верха дома, из квартиры герра Кольбера; тут он вновь осознал, какой он сообразительный, вспомнив руку, указавшую на сейф, быстрый рывок за веревку, моментально наведенный и выстреливший револьвер, и его охватило чувство гордости: «Я убил человека». Он распахнул полы пальто, давая доступ ночному ветерку, пригладил жилет, потрогал пальцем серебряную цепочку, приподнял перед воображаемой приятельницей свою мягкую серую шляпу от лучшего мастера Вены; шляпа, правда, была ему маловата — он стащил ее с вешалки в уборной. «Я, Йозеф Грюнлих, убил человека. Я умник, им меня не одолеть, — думал он. — К чему мне спешить, словно трусливому воришке, крадучись, проскальзывать в дверь, прятаться в тени складов? Есть еще время для чашки кофе». И он выбрал столик на тротуаре у края того навеса, который возник перед его глазами, когда он поскользнулся на крыше. Сквозь падающий снег он взглянул вверх: первый этаж, второй, третий — там светится окно кабинета герра Кольбера, — четыре этажа, и очертания дома скрылись за серыми тяжелыми тучами, покрывавшими небо. Он разбил бы вдребезги.

— Der Kaffee mit Milch,[7] — заказал он.

Йозеф Грюнлих задумчиво помешивал кофе; он — избранник судьбы. Выхода не было, и он не колебался. По его лицу пробежала тень досады, когда он подумал: «Но я же не могу никому рассказать об этом. Слишком опасно». Даже лучший друг Антон, чье имя он присвоил, должен оставаться в неведении — ведь за донос могут предложить вознаграждение. «И все-таки догадаются рано или поздно, — уверял он себя, — будут пальцем на меня показывать. Вон Йозеф. Он убил в Вене Кольбера, но его так и не поймали. Его ни разу не поймали».

Он поставил стакан на стол и прислушался. Что это было — такси, шум на вокзале или женский крик? Оглядел соседние столики — никто не слышал ничего необычного, люди разговаривали, пили, смеялись, а один мужчина плевался. Но жажда Йозефа Грюнлиха поутихла, пока он сидел и прислушивался. По улице прошел полицейский, возможно, это был дорожный инспектор, сменившийся с поста и направляющийся домой, но Йозеф, подняв стакан, прикрыл им лицо и стал украдкой наблюдать за ним. И тут ясно услышал крик. Полицейский остановился, и Йозеф, беспокойно оглянувшись в поисках официанта, поднялся и положил на стол несколько монет; револьвер слегка натер ему кожу на ноге.

— Guten Abend.[8] — Полицейский купил вечернюю газету и пошел дальше по улице.

Йозеф отер лоб рукой, не снимая перчатки, ставшей влажной от пота. «Так не пойдет, — подумал он. — Нельзя нервничать, мне, наверно, померещился этот крик». Он собрался было сесть и допить кофе, но тут снова услышал крик. Удивительно, но в кафе никто не обратил на него внимания. «Сколько времени пройдет, прежде чем она откроет окно, — размышлял он.

— Тогда ее услышат». Он отошел от столика и, выйдя на улицу, более отчетливо услышал крики, но мимо, гудя, проезжали такси, несколько носильщиков, пошатываясь, тащили из отеля багаж по скользкому тротуару, никто не останавливался, никто ничего не слышал.

Вдруг раздался металлический звон, что-то упало на тротуар, Йозеф посмотрел вниз. Это была медная монета. «Вот любопытно, — подумал он, — хорошая примета». Но, нагнувшись за монетой, он увидел, что по всей дороге от кафе, на некотором расстоянии друг от друга, посреди тротуара лежали медные и серебряные монеты. Засунув руку в карман брюк, он не обнаружил там ничего, кроме дырки. «Господи, неужели я ронял их от самой квартиры?» — подумал он. И представил себе, что стоит на конце ясно видимого пути, ведущего от одной плиты тротуара к другой, затем от одной ступени к другой прямо к двери кабинета герра Кольбера. Быстро шагая обратно по тротуару, он подбирал монеты и запихивал их в карман пальто, но не успел дойти до кафе, как высоко над его головой разбилось стекло и женский голос все кричал и кричал: «Zu Hilfe! Zu Hilfe!»[9] Из кафе выбежал официант, он стал вглядываться вверх, таксист нажал на тормоз и остановил машину у кромки тротуара, двое мужчин, игравших в шахматы, вскочили с места и выбежали на дорогу. Йозефу Грюнлиху и до этого казалось, что кругом очень тихо из-за снегопада, но только теперь он понял, что такое подлинная тишина: такси остановилось, в кафе прекратились разговоры, а женщина продолжала кричать: «Zu Hilfe! Zu Hilfe!» Кто-то сказал: «Die Polizei!»;[10] по улице бежали двое полицейских, кобуры у них громко хлопали по бокам. Затем все снова стало как обычно, только кучка зевак столпилась у входа в дом. Два шахматиста вернулись к своей игре, таксист включил было стартер, но холод уже сковал двигатель, и он вылез наружу покрутить ручку. Йозеф Грюнлих не спеша зашагал по направлению к вокзалу, а газетчик стал собирать монеты, оставленные Йозефом на тротуаре. «Мне, конечно, нельзя дожидаться поезда на Пассау, — думал Йозеф. — Но также не стоит и рисковать: вдруг арестуют за безбилетный проезд, — пришло ему в голову. — А денег-то на другой у меня нет, даже мелочь я растерял. Йозеф, Йозеф, — уговаривал он себя, — не создавай излишних трудностей. Тебе нужно добыть денег, ты ведь не собираешься сдаваться: Йозеф Грюнлих за пять лет ни разу не сел. Ты убил человека. Конечно же, ты, мастер в своей профессии, можешь проделать то, что не составляет труда для мелкого воришки, — стащить дамскую сумочку».

Поднимаясь по ступеням вокзала, он настороженно осматривался. Рисковать было нельзя. Если его задержат, то припают пожизненный срок, это тебе не неделя в тюрьме. Нужно выбирать с осторожностью. В многолюдном зале несколько сумочек прямо шли к нему в руки — так небрежно с ними обращались, но владелицы сумочек выглядели или слишком бедными, или очень уж смахивали на шлюх. У первых будет лишь несколько шиллингов в дешевом кошельке, у других же, по всей вероятности, не найдется в сумочках даже мелочи, а только пуховка, губная помада, зеркало и, возможно, презервативы.

Наконец он нашел нечто подходящее — на такое он и надеяться не мог. Иностранка, наверно англичанка, с короткими, непокрытыми волосами и покрасневшими глазами, боролась с дверью телефонной будки. Она схватилась за ручку обеими руками, а сумочка ее упала к ногам. «Она выпивши, — подумал он, — а коль уж это иностранка, в сумочке у нее уйма денег». Такое дело было для Йозефа Грюнлиха детской забавой.

Дверь наконец отворилась, и перед Мейбл Уоррен предстал тот черный сверкающий аппарат, который вот уже десять лет забирал ее лучшее время и лучшие мысли. Мейбл нагнулась за сумочкой, но ее уже не было. «Странно, — подумала она, — могу поклясться... или я ее в вагоне оставила?» В поезде у нее был прощальный обед с Джанет Пардоу, она там выпила бокал шерри, больше половины бутылки рейнвейна и два ликера с коньяком. От этого она немножко обалдела. Джанет заплатила за обед, а она дала Джанет чек и взяла себе сдачу; в кармане ее твидового жакета и теперь лежало на два фунта австрийской мелочи, но в сумочке было около восьмидесяти марок.

С большим трудом ей удалось заставить телефонистку междугородной станции понять, какой номер ей нужен в Кёльне: говорила она довольно бессвязно. Ожидая разговора, она покачивалась своим мощным телом на маленьком железном сиденье и глаз не спускала с барьера. Все меньше и меньше пассажиров выходило с платформы, доктор Циннер не появлялся. Однако за десять минут до Вены она заглянула в его купе — на нем были шляпа и плащ, и он ответил ей: «Да, я выхожу». Она не поверила ему и, когда поезд остановился, подождала, пока он выйдет из купе, видела, как он шарит по карманам, отыскивая билет. Она бы не выпустила его из виду, если бы не необходимость позвонить в редакцию. В случае, если он солгал, она поедет с ним в Белград и у нее больше не будет возможности позвонить сегодня вечером. «Неужели я оставила сумку в вагоне?» — удивленно подумала она, и тут зазвонил телефон.

Мейбл Уоррен взглянула на свои часы: «У меня десять минут. Если он не появится через пять, я вернусь в поезд. Ему не удастся обмануть меня».

— Алло! Это лондонский «Кларион»? Эдвардс? Правильно. Записывай. Нет, дружок, это не репортаж о Сейвори. Тот я передам через минуту. Это ведущий материал на первую полосу, но тебе придется придержать его на полчаса. Если я снова не позвоню — передавай. Как сообщалось в наших вечерних выпусках, вооруженное восстание коммунистов в Белграде в среду ночью было подавлено, имеются человеческие жертвы. Его подготавливал известный подстрекатель — доктор Ричард Циннер, сбжавший во время судебного процесса над Камнецом. Нет, Камнец. К — Кайзер, А — афера, М — мул, Н — недоносок, нет, это не то. Ну, неважно, буква та же самая. Е — евнух, Ц — цапля. Записал? Суд над Камнецом. Запиши для помощника редактора: посмотреть газетные вырезки тысяча девятьсот двадцать седьмого года. Полагали, что Циннер убит правительственными агентами, но он, несмотря на ордер на его арест, скрылся. В единственном интервью нашему специальному корреспонденту он поведал о своей жизни школьного учителя в Грейт Берчингтон-он-Си. Редактору отдела новостей: не могу убедить его рассказать об этом. Получите секретную информацию от директора школы. Его фамилия — Джон. Восстание в Белграде началось не вовремя, его планировали на субботнюю ночь, к этому времени доктор Циннер, выехавший из Англии в среду вечером, прибыл бы в Белград и взял бы на себя руководство восстанием. Доктор Циннер узнал о восстании и о его разгроме, когда поезд прибыл в Вюрцбург. Он тут же решил сойти в Вене. Циннер был в отчаянии и все время еле слышно повторял, обращаясь к нашему специальному корреспонденту: «Почему они не подождали?» Он уверен — находишься он в Белграде, весь рабочий класс города поддержал бы восстание. Ломаным языком поведал он нашему корреспонденту поразительную историю своего бегства из Белграда в тысяча девятьсот двадцать седьмом году и рассказал о планах, так преждевременно провалившихся. Записал? А сейчас слушай внимательно. Если не получишь остальную часть информации через полчаса, вычеркни все после слов «прибыл в Вюрцбург» и продолжай следующим образом: и после долгих и мучительных колебаний решил продолжать путь в Белград. Он был в отчаянии и все время тихо повторял: «Чудесные, храбрые парни. Как я могу их покинуть!» Придя немного в себя, Циннер заявил нашему специальному корреспонденту: он решил предстать перед судом вместе с оставшимися в живых, тем самым подтвердив свою донкихотскую репутацию, сложившуюся еще в дни суда над Камнецом. Его популярность среди рабочего класса теперь ни для кого не секрет, и его шаг может доставить правительству много хлопот.

Мисс Уоррен перевела дыхание и посмотрела на часы. До отхода поезда оставалось только пять минут.

— Алло! Не вешай трубку. Вот обычная чепуха насчет Сейвори. Быстренько запиши. Просили на полколонки, но у меня нет времени. Дам тебе несколько абзацев. Мистер Куин Сейвори, автор «Развеселой жизни», направляется на Дальний Восток собирать материал для нового романа «Поехали за границу». Хотя действие будет происходить на Востоке, выдающийся писатель не намерен совсем покидать Лондон, он его так горячо любит. Он собирается

смотреть на эти дальние страны глазами лондонского хозяина табачной лавочки. Мистер Сейвори, стройный мужчина с бронзовым загаром, приветствовал нашего корреспондента на платформе в Кёльне. У него грубоватая манера вести себя — не валяй дурака, я сказала «грубоватая», гру-бо-ва-та-я, — но за нею скрывается доброе и отзывчивое сердце. На просьбу определить свое место в литературе он ответил: «Моя позиция основана на здравомыслии, в противоположность увлечению патологическим самоанализом таких писателей, как Лоренс и Джойс. Жизнь — отличная штука для предприимчивых людей, для тех, у кого в здоровом теле здоровый дух». Мистер Сейвори одет скромно, не эксцентрично, он не одобряет богемные взгляды некоторых литературных кругов. «Они отдали сексу, — сказал он, любопытно перефразируя знаменитое изречение Бэрка, — то, что предназначено всему человечеству». Наш корреспондент напомнил ему, с каким искренним восхищением относятся бесчисленные читатели к Эмми Тод, маленькой поденщице из «Развеселой жизни», — тираж этой книги, между прочим, достиг ста тысяч. «Вы замечательный знаток женского сердца», — сказал наш корреспондент. Добродушно улыбаясь, мистер Сейвори забрался снова в свой вагон. Он не женат. «Писатель — это нечто вроде шпиона», — со смехом заявил он и весело помахал рукой, когда поезд уже уносил его прочь. Кстати, ни для кого не секрет, что благородная Кэрол Дилейн, дочь лорда Гартвей, будет играть роль Эмми Тод, поденщицы, в кинофильме «Развеселая жизнь». Записал? Ну, разумеется, это для дураков. А что еще можно сделать с такой козьявкой?

Мисс Уоррен с треском повесила трубку. Доктор Циннер так и не появился. Она разозлилась, но и злорадствовала тоже. Он-то думал оставить ее на вокзале в Вене; она ликовала, представляя себе, как он будет разочарован, когда, заглянув поверх газеты, увидит ее в дверях своего купе. «Меня так просто не стряхнешь, как прах с ног, — шептала она про себя, — вот так-то».

Контролер у барьера остановил ее:

— Fahrkarte, bitte.[11]

Он не глядел на нее, был занят — отбирал билеты у пассажиров, только что прибывших пригородным поездом: у женщин с детьми на руках, у мужчины с живой курицей под мышкой. Мисс Уоррен попыталась прорваться.

— Журналистский пропуск.

Контролер повернулся и подозрительно оглядел ее:

— Где он?

— Я оставила в вагоне сумку.

Он отобрал последний билет, сложил все картоночки в аккуратную стопку и тщательно перетянул ее резинкой.

— Дама сказала мне, когда выходила с платформы, что у нее пропуск, — напомнил он вежливо, но непреклонно. — Она помахала передо мной кусочком картона и пронеслась мимо, прежде чем я его рассмотрел. Теперь я хотел бы поглядеть на этот кусочек картона.

— Тьфу ты, пропасть! — воскликнула мисс Уоррен. — Значит, сумку у меня украли.

— Но дама только что сказала, что сумка в вагоне.

Мисс Уоррен снова выругалась. Она понимала — внешность не говорит в ее пользу: без шляпы, волосы растрепаны, изо рта несет спиртным.

— Ничего не могу поделать. Мне необходимо сесть в этот поезд. Пошлите со мной человека,

я отдам ему деньги.

Контролер покачал головой:

— Самому мне нельзя отойти от барьера, послать же кого-нибудь из находящихся в зале носильщиков на платформу, чтобы получить деньги за билет, будет нарушением правил. А почему бы даме не купить билет и потом не потребовать у железной дороги возмещения?

— А потому, — с бешенством возразила мисс Уоррен, — что у дамы при себе нет таких денег.

— В таком случае, — невозмутимо сказал контролер, взглянув на часы, — даме придется ехать следующим поездом. Восточный экспресс сейчас отойдет. А что касается сумки — вам не следует беспокоиться. Можно по телефону послать запрос на следующую станцию.

В билетном зале кто-то насвистывал. Мисс Уоррен слушала когда-то эту мелодию вместе с Джанет — музыка к словам сладострастной песенки. Они внимали ей, держась в темноте за руки; кинокамера неудачно сняла декорацию длинной улицы — песенку пели на ней мужчина, высунувшийся из окна, женщина, продававшая овощи с тележки, юноша, обнимавший девушку в тени стены. Она взъерошила рукой волосы. Вдруг в ее воспоминания и озабоченность, в компанию Джанет и К. С. Сейвори, Корал и Ричарда Циннера, на мгновение вторглась румяная физиономия какого-то юнца, добрые глаза лучились за очками в роговой оправе.

— Как я догадываюсь, мэм, у вас какие-то неприятности с этим человеком. Я был бы очень польщен, если бы мог помочь вам с переводом.

Разъяренная мисс Уоррен повернулась к юноше.

— Пропади ты пропадом, — сказала она и зашагала к телефонной будке.

Американец помог ей отбросить трогательные воспоминания и жалость, остались только злость и жажда мести. «Он считает, что ему теперь ничего не грозит, он от меня отвязался, да я ничего и не могу с ним сделать, раз он потерпел неудачу», — думала она. Но к тому времени, когда в будке зазвонил телефон, она снова успокоилась.

Пусть Джанет флиртует с Сейвори, а Корал со своим евреем — Мейбл Уоррен пока не до них. Когда нужно выбирать между любовью к женщине и ненавистью к мужчине, для нее существовало только одно: над ее любовью можно было посмеяться, но никто еще никогда не насмеялся над ее ненавистью.

II

Корал Маскер смущенно разглядывала меню.

— Выберите за меня, — попросила она и обрадовалась, когда он заказал вино. «Оно облегчит мне сегодняшнюю ночь», — пришла ей в голову мысль. — Мне нравится ваше кольцо.

Огни Вены пролетали мимо них, исчезая во тьме, официант потянулся через столик и опустил штору.

— Оно стоило пятьдесят фунтов, — сказал Майетт. Он возвратился в родную стихию и был в

ней как дома, его больше не смущала нелепость поведения людей. Карта вин у него в руках, салфетка, свернутая на тарелке, мягкие шаги официантов, проходивших мимо его стула, — все это вселяло в него уверенность. Улыбаясь, он пошевелил рукой, и грани камня засверкали на потолке и на рюмках. — А цена его почти вдвое больше.

— Расскажите мне о ней, — сказал Сейвори. — Странная особа. Пьет?

— Так привязана ко мне.

— Неудивительно. — Наклонясь вперед и разламывая хлеб, он осторожно спросил: — Никак не могу понять, чем такие женщины занимаются?

— Нет, я не стану больше пить это пиво. Мой желудок его не принимает. Спроси, нет ли у них «Гиннеса». С удовольствием бы выпила «Гиннеса».

— Конечно, у вас в Германии возрождается большой спорт, — говорил мистер Оупи. — Великолепный тип молодых мужчин, сразу заметно. Однако это несравнимо с крикетом. Возьмите Хоббса и Сатклифа...

— Целуются. Вечно целуются.

— Но я не знаю их тарабарского языка, Эйми.

— Вы всегда упоминаете, сколько каждая вещь стоит. Вам известно, сколько я стою? — От растерянности и страха она стала колючей. — Уж точно известно. Десять фунтов за билет

— Я же все объяснил насчет билета.

— А будь я вон той девушкой?

Майетт обернулся и посмотрел на элегантную, худощавую женщину в мехах; ее мягкий лучистый взгляд остановился на нем, оценил его и отверг.

— Вы лучше, — произнес он явно неискренним тоном, снова пытаясь поймать взгляд той молодой женщины и прочесть в нем свой приговор. «Это не ложь, — говорил он себе, — ведь Корал, когда она в настроении, очень милая, а к незнакомой женщине трудно даже и применить такое определение. С ней-то я бы и слова сказать не мог, — думал он. — Не смог бы разговаривать так легко, как с Корал, не знал бы, куда руки девать, постоянно помнил бы о своей национальности». В порыве благодарности он повернулся к Корал: — Вы так добры ко мне. — Он склонился над тарелкой с супом, булочками, графинчиком с уксусом. — Вы и дальше будете добры ко мне?

— Да. Сегодня ночью.

— Почему только сегодня ночью? Когда приедем в Константинополь, почему бы вам, почему бы нам... — Он заколебался. Что-то в ней смущало его: оставался какой-то неизведанный

островок в океане их дружеских отношений.

— Поселиться там вместе с вами?

— А почему нет?

Рассудок ее не противился его предложению, но оно так ошеломило ее, что ей пришлось сосредоточить внимание на всем окружающем: покачивающийся поезд, мужчины и женщины — они, кажется, едят и пьют, сидя между опущенными шторами, — обрывки чужих разговоров.

— Да, вот и все. Целовались. Только целовались.

— Хоббс и Зудглифф?

Все доводы были в пользу его предложения. Вместо того чтобы продрогшей возвращаться на рассвете в грязное жилище к местной хозяйке — та даже не сможет понять ее просьбу дать ей грелку или чашку чая и станет предлагать какой-то неизвестный заменитель аспирина для раскалывающейся от усталости головы, — вместо всего этого возвращаться в роскошную квартиру, где сверкают краны и постоянно идет горячая вода, где мягкая кровать, покрытая цветастым шелковым покрывалом; из-за этого стоит перетерпеть любую боль, любые ночные неприятности. «Но о такой жизни можно только мечтать, — думала она, — и сегодня ночью, когда он узнает, какая я холодная, напуганная и не привыкшая ко всему такому, он меня больше и не захочет».

— Подождите. Может, я вам буду не нужна.

— Нет, нужна.

— Подождите до завтрака. Спросите меня за завтраком. Или вообще не спрашивайте.

— Нет, не крикет, не крикет, — сказал Йозеф Грюнлих, вытирая усы. — Мы в Германии учимся бегать.

Необычность такого заявления вызвала у мистера Оупи улыбку.

— А сами вы были бегуном?

— В молодости я был замечательным бегуном. Никто не бегал лучше меня. Никто не мог меня поймать.

— «Хеллер».

— Не бранись, Джим.

— Я не бранюсь. Это сорт пива. В нем меньше газов. А то, что ты раньше выпила, называется «Дункель».

— Я так рад, что вам понравилось.

— Эта крошка поденщица. Не могу вспомнить ее имя, но она прелесть.

— Возвращайтесь. Поболтаем немножко после обеда.

— А вы не будете делать глупостей, мистер Сейвори?

— Я спрошу вас.

— Не обещайте. Ничего не обещайте. Поговорим о чем-нибудь другом. Расскажите мне, чем вы будете заниматься в Константинополе.

— Только дела. Сложные. Когда в следующий раз будете есть «пятнистую собаку», вспомните обо мне. Изюм. Я — изюм, — добавил он с забавной гордостью.

— Значит, я буду звать вас «пятнистой собакой». Не могу же я называть вас Карлтон. Прямо как фамилия!

— Знаете что, попробуйте-ка ягодку. Я всегда ношу при себе немножко. Возьмите одну из этого отделения. Хорошая, правда?

— Сочная.

— Это наша. «Майетт, Майетт и Пейдж». А теперь возьмите отсюда. Что вы об этой думаете?

— Взгляни-ка туда, в первый класс, Эйми. Ты что, не видишь ее? Задирает нос перед нами!

— С этим евреем? Теперь понятно.

— Я, естественно, испытываю величайшее уважение к римско-католической церкви, — говорил мистер Оупи. — Я не ханжа. Как пример организации...

— Итак?

— Я сейчас ничего не соображаю.

— Сочная.

— Нет, нет, эта не сочная.

— Я что-то, не то сказала.

— Эта от Стейна. Дешевый изюм низкого качества. Виноградники на теневой стороне холмов. Вот почему изюм сухой. Попробуйте еще. Разве вы не чувствуете разницы?

— Да, эта сухая. Совсем другое дело. Но та была сочная. Не поверите, но та и вправду была сочная. Они у вас, наверно, смешались.

— Нет. Я сам выбирал образцы. Странно. Очень странно.

В ресторане вдруг наступила полная тишина — в таких случаях говорят, что ангел пролетел. Но в тишине слышно было, как позванивают бокалы на столиках, глухо стучат по железным рельсам колеса, подрагивают окна; за ними во тьме, словно головки спичек, мерцают искры. Доктор Циннер опоздал к последней смене, он вошел в вагон-ресторан как раз в тот момент, когда там царила тишина, колени его были слегка согнуты, как у моряка, старающегося твердо стоять на ногах во время шторма. Впереди шел официант, но доктор не сознавал, что тот ведет его на свободное место. В мозгу у него горели слова, они складывались во фразы. «Вы говорите, я предатель родины, но я не узнаю свою родину. Ступени, в темноте ведущие вниз, навоз у глухой стены, изможденные лица. Это ведь не только славяне, над которыми всегда стоит то одна, то другая фигура в сюртуке, это неимущие всего мира», — думал он. Его слова были обращены к военному трибуналу, восседавшему под орлами и скрещенными шпагами. «Это вы устарели с вашими пулеметами, с вашими газами и с вашими разглагольствованиями об отечестве». Двигаясь по проходу от столика к столику, он машинально трогал и поправлял туго завязанный галстук, щупал старинную булавку. «Я принадлежу настоящему». Но в его возвышенные мечты на миг вторглось воспоминание о длинных рядах злобных юношеских лиц, о насмешках за спиной, о прозвищах, карикатурах, записках в учебниках грамматики, которые передавались под партами, слышавшийся повсюду шепот — нарушителя невозможно было обнаружить и наказать. Он сел и непонимающим взглядом уставился на меню.

«Да, я бы не прочь оказаться на месте этого еврея, — думал мистер Питерс, пока ангел тишины все летал и летал. — Он заполучит миленькую юбочку. Ну и ладно! Не скажешь, что хорошенькая. Но хоть и не хорошенькая, а фигурка славная, и все прочее, — рассуждал он про себя, оглядывая длинную, угловатую фигуру жены, вспоминая ее урчащий желудок. — А это важнее всего».

Странно. Он выбирал образцы с особой тщательностью. Вполне допустимо, конечно, что даже изюм Стейна может быть и не весь низкого качества, но во всем этом деле подозрениям нет конца. Предположим, к примеру, что Экман, извлекая кое-какую пользу для себя, передал Стейну партию изюма их фирмы — это временно повысит качество его товара, и, благодаря улучшенному качеству, Экман убедит фирму Моулта предложить свою цену за эту фирму. Экман, наверно, переживает сейчас неприятные минуты, перелистывает расписание, смотрит на часы, прикидывает, проехал ли уже Майетт половину пути. «Завтра дам телеграмму и поручу все дело Джойсу, — думал Майетт. — Экману нужно дать отпуск на месяц. Джойс проверит бухгалтерские книги». Он представил себе, какая начнется беготня туда-сюда, словно в муравейнике, растревоженном ногой человека; телефонный звонок от Экмана к Стейну или от Стейна к Экману, такси, вызванное тут и отпущенное там, обед, на этот раз без вина, а затем крутая лестница конторы, а наверху преданный, глуповатый Джойс проверяет бухгалтерские книги. И все это время миссис Экман будет сидеть в своей новомодной квартире, на своем стальном диване и вязать детские кофточки для англиканской миссии, а огромная, потрепанная Библия — первый обман Экмана станет покрываться пылью на открытой неперевернутой странице.

К. С. Сейвори нажал на кнопку поднимающейся при помощи пружины шторы, и лунный свет коснулся его лица, скользнул по рыбному ножу и посеребрил стальные встречные пути тихого полустанка. Снегопад уже прекратился, сугробы лежали вдоль насыпи и между шпалами, поблескивая во тьме. На расстоянии нескольких сот ярдов, словно ртуть, сверкал Дунай. Сейвори видел, как высокие деревья летят назад, телеграфные столбы проносятся мимо и ловят лунный свет своими железными руками. Пока в вагоне царила тишина, он отвлекся от

мыслей о Джанет Пардоу и принялся размышлять над тем, какими словами стал бы он описывать эту ночь. Все зависит от выбора и расстановки слов. «Мне не следует описывать все, что вижу, нужно лишь выразить свое восприятие, выбрав какие-то отдельные, яркие детали. Мне не следует говорить о тенях на снегу — их очертания и цвет неопределенны, но я могу выхватить алый огонь семафора, сияющий на фоне белого покрова земли, пламя очага в зале ожидания на деревенской станции, бусинки огней на барже, ползущей против течения».

Йозеф Грюнлих поглаживал ногу в том месте, где ее натер револьвер, и раздумывал: «Сколько часов до границы? Известят ли уже пограничников об убийстве? Но мне ничего не грозит. Мой паспорт в порядке. Никто не видел, как я взял сумочку. Никаких улик в квартире Кольбера. Может, следовало выбросить где-нибудь револьвер? — подумал он, но тут же убедил себя: — Он мог бы навести на мой след. Сейчас просто чудеса выясняют по царапинам на канале ствола. С каждым годом преступление становится все более опасным делом; поговаривают о новом трюке с отпечатками пальцев, каким-то образом умудряются получить их, даже если рука была в перчатке. Но меня пока еще не поймали, несмотря на всю их науку».

«Вот к чему кино приучило наше зрение — видеть красоту движущегося пейзажа, видеть, как церковная колокольня убегает прочь, возвышаясь над деревьями, как она опускается и взвивается вверх в такт с неровной поступью человека, как симпатичная одинокая труба вздымается к облакам и исчезает за следующими трубами. Ощущение движения нужно выражать в прозе», — размышлял Сейвори. Он почувствовал необходимость попробовать это срочно, ему было невтерпех взять бумагу и карандаш, пока его не покинуло такое настроение, и он сожалел, что пригласил Джанет Пардоу встретиться после обеда и поболтать. Ему хотелось работать, хотелось на несколько часов освободиться от вторжения любой женщины. «Мне не нужна она, — подумал он и рывком снова опустил штору, но тут же ощутил прилив желания. — Она хорошо одета, разговаривает, как светская дама, и читала мои книги с восхищением». Эти три обстоятельства покорили его, он все еще помнил, что родился в Балхеме, да и говорит, как сбежавший оттуда кокни. После шести лет все возраставшего успеха, успеха, выразившегося в том, сколько его книг было продано: 2000, 4000, 10000, 25000, 100000, он все еще удивлялся, видя себя в обществе хорошо одетых женщин, не отделенных от него толстым стеклом ресторанной витрины или широким прилавком. Пишешь день за днем по сотне тысяч слов, часто с натугой, но и радостно; какой-нибудь клерк записывает столько же в конторскую книгу, однако слова, которые пишет он, К. С. Сейвори, бывший приказчик, приносят такой результат, какого не может дать самый изнурительный труд тех, кто сидит на конторском табурете. Ковыряя вилкой рыбу и украдкой разглядывая Джанет Пардоу, он думал не о счетах, гонорарах и акциях, не о читателях, которых доводят до слез трогательные места его романов и смешит его юмор кокни, а о парадных подъездах, о лестницах, ведущих в лондонские гостиные, о том, как громко объявляют о его приходе, о лицах женщин, поворачивающихся в его сторону с интересом и почтением.

«Скоро, через несколько часов, он станет моим любовником». От этой мысли и от смутного страха перед неведомой ей близостью этот смуглый, все понимающий мужчина вдруг стал ей чужим. Когда она упала в обморок в коридоре, он был добр к ней, руки его закутали ее в теплое пальто, голос предложил отдых и комфорт; благодарность вызывала слезы у нее на глазах, и, если бы не тишина, наступившая в вагоне, она произнесла бы: «Я люблю вас». Но удержалась — этими словами она нарушит их молчание, когда прекратится всеобщая

тишина.

«Там будет пресса, — думал Циннер, и перед его взором предстала журналистская ложа на процессе над Камнецом: люди в ней торопливо писали, а один набрасывал портрет Камнеца. — Теперь это будет мой портрет. Суд послужит оправданием долгих часов, проведенных мной на холодной площадке для прогулок, где я прохаживался взад и вперед, раздумывая, правильно ли поступил, что сбежал с родины. Каждое мое слово должно быть неоспоримым, мне следует ясно представлять себе; за что я борюсь, помнить, что дело не только в бедняках Белграда, а в бедняках любой страны». Много раз он протестовал против националистических взглядов воинствующей фракции социал-демократической партии. Даже их замечательная песня «Шагайте, славяне, шагайте!» была националистической — ее сделали гимном, несмотря на его протест. Ему было приятно, что паспорт в его кармане — английский, план в чемодане немецкий. Он купил этот паспорт в маленьком канцелярском магазине около Британского музея, хозяином его был поляк. Паспорт отдали ему за столиком в задней комнате, и худой прыщавый человек — имя его он уже позабыл — извинялся за цену. «Расходы очень уж велики, — жаловался он и, помогая клиенту надеть пальто, спросил машинально и без всякого интереса: — Как у вас идут дела?» Было совершенно очевидно, что он принимает его за вора. Затем хозяину пришлось пойти в магазин, продать номер французского неприличного журнала прибежавшему тайком школьнику. «Шагайте, славяне, шагайте!». Человека, сочинившего музыку, проткнули штыком около сортировочного зала.

— Тушеная курица! Жареная телятина! — продвигаясь по вагону, закричали официанты: они нарушили минутное молчание. Все вдруг сразу заговорили.

— Я считаю, венгры очень легко привыкают к крикету. В прошлом сезоне у нас состоялось шесть матчей.

— Это пиво ничуть не лучше. Мне просто хотелось бы стакан «Гиннеса».

— Я, право же, надеюсь, что этот изюм...

— Я люблю вас.

— Наш представитель... Что вы сказали?

— Сказала, что люблю вас.

Ангел тишины улетел, а экспресс, полный бодрого шума, стука колес, дребезжания тарелок, говора, позванивания бокалов, пронесился мимо длинных рядов сосен и мерцающего Дуная. В кабине машиниста стрелка манометра показывала, как увеличивается давление пара, машинист повернул ручку регулятора, и скорость поезда стала больше на пять миль в час.

III

Корал Маскер минуту помедлила, стоя на железных листах перехода из вагона-ресторана в вагоны второго класса. Тряска поезда действовала ей на нервы, ее мутило, она не могла заставить себя пойти и взять саквояж из купе, где сидел мистер Питерс со своей женой Эйми. Забыв о грохочущем металле, о стуке буферов, она мысленно поднялась по лестнице в свою квартиру, закутанная в меховое пальто. На столе гостиной — корзина роз из оранжереи и

карточка; «От любящего Карла», — она решила называть его так. Нельзя же сказать: «Я люблю тебя, Карлтон», а произнести: «Я обожаю тебя, Карл» — очень легко. Она громко засмеялась и захлопала в ладоши, внезапно поняв, что любовь — дело несложное, и вот из чего оно состоит: из чувства благодарности, подарков, привычных шуток, квартиры, служанки; и не нужно работать.

Она побежала по коридору, стучаясь то об одну стенку, то о другую и не обращая на это никакого внимания. «Явлюсь в театр, опоздав на три дня, и спрошу: «Могу я видеть мистера Сиднея Данна?» Его швейцар — он, конечно же, будет турок — только пробормочет что-то сквозь кошачьи усы, поэтому придется самой пробираться по коридорам в гримерные, переступить через разбросанные в беспорядке пожарные шланги. Я засуну голову в общую гримерную, скажу: «Bong jour»[12] и спрошу: «Где Сид?» Он в это время будет репетировать на авансцене, тут я выгляну из-за кулис, он увидит меня и спросит: «Кто вы такая, черт возьми?» — отбивая такт, а «Девочки Данна» все танцуют, танцуют и танцуют. «Корал Маскер». — «Вы опоздали на три дня, что это значит, черт возьми?» А я скажу: «Я просто заглянула к вам сообщить, что увольняюсь». Но из-за грохота поезда ее слова, произнесенные с напускной храбростью, прозвучали как робкое хныканье.

— Извините, — обратилась она к мистеру Питерсу — он слегка переел за обедом и теперь дремал в углу, вытянув ноги поперек купе и преграждая ей путь.

— Извините, — повторила она; мистер Питерс проснулся и попросил прощения.

— Вернулись к нам? Правильно!

— Нет, я пришла за саквояжем.

Эйми Питерс, свернувшись на сиденье с мятной лепешкой во рту, вмешалась с неожиданной злобой:

— Не разговаривай с ней, Герберт, пусть забирает свой саквояж. Думает, слишком хороша для нас.

— Я только хочу взять саквояж. Чего вы расходитесь? Я и слова не сказала.

— Не волнуйся из-за пустяков, Эйми, — сказал мистер Питерс. — Нас не касается, как ведет себя эта молодая дама. Пососи еще одну мятную лепешку. Это все ее желудок. У нее несварение, — объяснил он Корал.

— «Молодая дама», скажешь тоже. Потаскуха.

Корал уже вытащила саквояж из-под сиденья, но тут же с силой опустила его на ноги мистера Питерса. Она уперла руки в бока и повернулась лицом к женщине, чувствуя себя очень опытной, уверенной в себе и решительной: их ссора напомнила ей о матери — та, подбоченившись, вступила в перебранку с соседкой, намекавшей на ее шашни с жильцом. В тот момент Корал превратилась в свою мать; легко, словно платье, она сбросила с себя то, чему ее научила жизнь — напускную изысканность театрального мира и осторожную манеру разговаривать.

— А сама-то ты кто такая? — Она знала, что это за люди: лавочники на отдыхе, едут в Будапешт с туристской группой агентства «Кук», это ведь немножко дальше, чем Остенде, дома они смогут похвалиться, какие они заядлые путешественники, показывать яркие наклейки дешевой гостиницы на своих чемоданах. Раньше и на нее это произвело бы впечатление, но теперь она уже научилась не придавать значения таким вещам, не позволять себе пребывать в неведение, быть проницательной. — С кем это ты разговариваешь? Я не какая-нибудь там ваша продавщица. Не из тех, кого вы водите к себе с заднего хода.

— Ладно, ладно, — сказал мистер Питерс, задетый за живое ее догадливостью. — Нет никаких причин для ссоры.

— Ах нет! А вы слышали, как она меня обозвала? Наверно, видела, как вы пытались подкатиться ко мне.

— Ну, понятно, он тебе не годится. Легкий заработок, вот чего ты хочешь. Не думай, ты не очень нужна нам в этом вагоне. Я-то знаю, где тебе место!

— Вынь изо рта эту штуку, когда разговариваешь со мной!

— На Орбакл-авеню. Ловишь мужчин прямо с поезда на Паддингтонском вокзале.

Корал рассмеялась. Это был театральный смех ее матери, он обычно призывал соседей прийти и посмотреть на схватку. От возбуждения пальцы Корал сжались на бедрах, она так долго вела себя примерно, правильно произносила слова, не хвасталась своими поклонниками, не говорила: «Очень приятно вас видеть!» Многие годы в нерешительности металась она между двумя различными классами и ни тому, ни другому не принадлежала, только театру; она потеряла врожденную простоту, но и естественная утонченность была ей недоступна. А сейчас она с удовольствием возвратилась к своим истокам.

— Не хотела бы я стать таким пугалом, даже если бы ты мне за это заплатила. Ничего удивительного — с таким лицом у любой живот заболит. Понятно, почему твой старик бежит от тебя на сторону.

— Ладно, ладно, дамы.

— Об тебя он руки марать не станет. Грязный еврейчик — вот все, чего ты стоишь.

Корал вдруг заплакала, хотя руки ее все еще рвались в драку, у нее едва хватило голоса, чтобы ответить:

— Не трогай его.

Однако слова миссис Питерс, словно тающий дымок воздушной рекламы, омрачили ее светлые надежды.

— Уж мы-то знаем — это твой ухажер.

— Дорогая моя, не огорчайтесь из-за них, — произнес за ней чей-то голос.

— А вот и еще один твой приятель.

— Ну и что же?

Доктор Циннер взял Корал под локоть и потихоньку стал выводить ее из купе.

— Одни евреи и иностранцы. Постыдилась бы.

Доктор Циннер взял саквояж и выставил его в коридор. Когда он повернулся к миссис Питерс, лицо его не выражало жалкой растерянности учителя-иностранца — он был полон той отваги и сарказма, которые отметили журналисты, когда он давал свидетельские показания против Камнеца.

— Ну и что же?

Миссис Питерс вынула изо рта мятную лепешку. Доктор Циннер, засунув руки в карманы плаща, покачивался на носках. Было ясно, что он овладел положением, но ему не приходило

на ум, что сказать, — голова его все еще была полна громкими фразами, риторикой социалистов. При виде любого притеснения он становился резким, но сейчас не находил нужных слов для протеста, хотя они, несомненно, существовали в глубине его сознания, эти жгучие слова, едкие, как дым.

— Ну и что же?

К миссис Питерс стала возвращаться ее храбрость.

— Вы-то чего суетесь? Только этого и не хватало! Сначала один ретивый, а теперь другой, Герберт, сделай же что-нибудь.

Доктор Циннер заговорил. Слова его, произносимые с сильным акцентом, звучали значительно, они заставили миссис Питерс замолчать, хоть и не убедили ее.

— Я врач.

Он сказал им, сколь бесполезно предполагать, что у них есть совесть. Прошлой ночью девушка потеряла сознание, ради здоровья он рекомендовал ей перейти в спальный вагон. Подозрительность бросает тень на тех, кто подозревает. Затем он вышел к Корал Маскер в коридор. Из купе их не было видно, но оттуда ясно доносился голос миссис Питерс:

— Ну да, а кто платит? Вот что хотелось бы мне знать.

Доктор Циннер прислонился затылком к окну и с ненавистью прошептал:

— Буржуазия.

— Благодарю вас, — сказала Корал Маскер и добавила, заметив выражение досады на его лице: — Могу я чем-нибудь быть вам полезна? Вы нездоровы?

— Нет, нет, — возразил он. — Но я ничем не смог быть вам полезен. Я не обладаю даром произносить речи. — Прижавшись спиной к окну, он улыбнулся ей: — Вам это лучше удалось. Вы говорили замечательно.

— Почему они вели себя как скоты? — спросила она.

— Буржуазия всегда такая. У пролетариата есть свои достоинства, аристократ часто бывает добрым, справедливым и храбрым. Ему платят за полезное дело — он управляющий, учитель, врач, или его содержит отец. Может, и незаслуженно, но, получая эти деньги, он никому не приносит вреда. А буржуазия — она покупает дешево, а продает дорого. Она покупает у рабочего и продает рабочему. От нее нет никакой пользы.

Вопрос ее остался без ответа. Не поняв ни слова из того, о чем он говорил, она уставилась на него, растерявшись от потока его красноречия и от силы его убежденности.

— Я же им ничем не навредила.

— Ну нет, вы им очень навредили. И я тоже. Мы выходцы из одного и того же класса. Но мы зарабатываем на жизнь честно, не приносим никакого вреда, а делаем кое-что полезное. Мы служим им укором, а они этого не любят.

Из всех этих объяснений она уловила только одну, понятную ей фразу.

— А вы разве не джентльмен?

— Нет, но я и не из буржуазии.

Чуть заметная хвастливость, прозвучавшая в его голосе, была ей непонятна. С тех пор как она ушла из дома, ее не покидало тщеславное желание быть принятой за даму. С этой целью, подобно честолюбивому офицеру, готовящемуся к поступлению в военную академию, она проходила курс определенных наук — он включал изучение ежемесячного журнала «Женщина и красота» и еженедельника «Советы для дома», в них она рассматривала фотографии молодых звезд и дочерей ничем не прославившихся лордов, изучала, какие носят украшения и какую предпочитают пудру.

— Если вы не можете взять отпуск, то постарайтесь как можно меньше нервничать, — начал он мягко советовать ей. — Не раздражайтесь без причины...

— Они обозвали меня потаскухой.

Она видела, что слово это ничего для него не значит. Оно ни на миг не нарушило поток его мыслей. Не встречаясь с ней взглядом, он продолжал мягко говорить о ее здоровье. «Мысли его заняты чем-то другим», — подумала она и порывисто наклонилась за саквояжем, намереваясь уйти. Он задержал ее целым потоком советов относительно успокоительных средств, фруктовых соков и теплой одежды. Она инстинктивно почувствовала, что настроение у него изменилось. Вчера он стремился уединиться, а сегодня пользуется любым предлогом, лишь бы хоть недолго побыть в ее обществе.

— Что вы имели в виду, когда сказали: «Моя настоящая работа»? — спросила она.

— Когда я это говорил? — резко сказал он.

— Вчера, когда я упала в обморок.

— Я просто задумался. У меня только одна работа. — Больше он ничего не добавил, и, помедлив немного, она взяла саквояж и ушла.

Всего ее житейского опыта не хватило бы, чтобы понять, какое он почувствовал одиночество, когда она его покинула. «У меня только одна работа». Это признание испугало его — ведь так было не всегда. В давние времена он не стоял в стороне от жизни, не настраивал себя на то, что впереди у него только одно поле деятельности. Когда-то жизнь его была полна множеством обязательств. Испытай он с самого рождения чувство, будто живет в огромной пыльной пустой комнате, где обрывки обоев и щели в стенах свидетельствуют о том, что дом разорен, то моральные обязательства его, подобно отдельным свечам огромного канделябра, слишком громоздкого, чтобы его можно было заложить, в достаточной степени осветили бы его жизнь. Когда-то он испытывал чувство долга по отношению к родителям, которые голодали ради того, чтобы дать ему образование. Он помнит тот день, когда ему вручили диплом, помнит, как они пришли в его однокомнатную квартиру и тихо уселись в уголке, глядя на него с уважением и даже с благоговением, но без любви, — они ведь не могли любить его теперь, когда он стал образованным человеком; однажды он услышал, как отец, обращаясь к нему, назвал его «сэр». Эти свечи рано отгорели, он просто не заметил, как угасли эти два огонька среди стольких других; у него ведь было чувство долга по отношению к пациентам, чувство долга по отношению к беднякам Белграда и медленно растущее понимание долга по отношению к людям его класса в любой другой стране. Его родители морили себя голодом, чтобы он мог стать врачом, и, только поработав несколько лет, он осознал, насколько бесполезно его умение лечить. Он ничего не мог сделать для своего собственного народа, он не мог рекомендовать отдых тем, кто выбился из сил, или прописать инсулин диабетикам — у них не было денег оплатить ни то, ни другое.

Он зашагал по коридору, тихо разговаривая сам с собой. Снова повалили крупные хлопья снега; подобно пару, они застилали окна.

Когда-то у него было чувство долга по отношению к богу. К какому-то богу, поправил он себя, к богу, который снисходит с неба в переполненный придел храма, под блестящий, поеденный молью балдахин, к богу, размером в монету, обрамленную золотым ободком. Это был двуликий бог, божество, утешающее бедняков в их горестях, когда они возводят очи к небу, ожидая его явления между колоннами; и божество, убеждающее их, во имя сомнительного будущего, терпеть страдания, и они склоняют перед ним головы, а тут возникают певчие, священники, прихожане поют гимны. Все рассеялось как дым. Эту свечу он задул сам, сказав себе, что бог — вымысел, сочиненный богатыми для того, чтобы держать бедняков в повиновении; он задул ее демонстративно, с забавным старомодным ощущением отваги, и подчас его охватывало произвольное чувство негодования по отношению к тем, кто рождается теперь без всяких религиозных верований и может смеяться над рвением иконоборца девятнадцатого века.

А сейчас это его пустое жилище освещала только одна тусклая свеча. «Я не сын, не врач и не верующий, — размышлял он. — Я — социалист». Слово это произносят политики с бесчисленных трибун, его печатают плохим шрифтом на плохой бумаге бесконечное множество газет, и звучит оно фальшиво. «Даже здесь я потерпел неудачу». Он был один, его последняя свеча оплывала. И он был бы рад обществу любого человека.

Он обрадовался, когда, вернувшись в свое купе, увидел там какого-то человека. Незнакомец стоял к нему спиной, но быстро повернулся на коротких крепких ногах. Первое, что заметил доктор Циннер, был серебряный крестик на часовой цепочке незнакомца, затем увидел: его чемодан стоит не на том месте, где он его оставил.

— Вы тоже репортер? — печально спросил он.

— Ich spreche kein Englisch.[13]

Загораживая выход в коридор, Циннер сказал по-немецки:

— Тайный агент полиции? Вы опоздали.

Он все еще смотрел на серебряный крестик, качавшийся взад и вперед в такт движениям незнакомца: это напоминало шаги человека, и на мгновение доктору Циннеру представилось, будто он прижался к стене круто поднимавшейся в гору улицы, чтобы пропустить вооруженных солдат, копыя, лошадей и изможденного, измученного пыткой человека. Его распяли, а беднякам не стало от этого лучше, оковы еще крепче сомкнулись, заветы его исказили.

— Я не тайный агент.

Доктор Циннер почти не обращал внимания на незнакомца; он признавал, что, если, возможно, слова замученного и исказили, некоторые из них могли оказаться истиной. Он спорил с собой: сомнение связано только с близостью смерти, когда тяжесть совершенных ошибок становится невыносимой, человек ищет облегчение в самых необоснованных обещаниях. «Я дарю тебе покой». Но смерть не дарует покоя, ибо покой не может существовать, если его не осознаешь.

— Вы меня неправильно поняли, герр...

— Циннер.

Он не колеблясь открыл свое имя незнакомцу: пора маскировки прошла, и в наступившем времени открытых действий ему пришлось отказаться не только от чужого имени. Были слова, в смысл которых он глубоко не вникал, обычные лозунги, принятые им потому, что они помогали его делу: «Религия — друг богача».

— Если вы не тайный агент полиции, тогда кто же вы? Что вы здесь делаете?

— Моя фамилия... — И толстяк слегка поклонился, крутя пальцем нижнюю пуговицу жилета. Имя было брошено в прозрачную, освещенную снегом тьму и потонуло в реве поезда, в хлопанье стальных трубок, в звуках, отраженных эхом от моста; Дунай, словно серебряный угорь, скользнул с одной стороны железнодорожной линии на другую. Незнакомцу пришлось повторить свое имя: — Йозеф Грюнлих. — Он поколебался, затем продолжал: — Я искал деньги, герр Циннер.

— Украли...

— Вы слишком быстро вернулись. — Он начал медленно объяснять: — Я сбежал от полиции. Ничего позорного, герр Циннер, могу вас заверить.

Он все вертел пуговицу жилета, этот неведомый говорун, но в просветленном сознании доктора Циннера возникали зримые образы: чье-то изможденное лицо, какой-то яркий лоскуток, какой-то страдающий ребенок, человек, с трудом поднимающийся вверх, по пути к Голгофе.

— Это была политика, герр Циннер. Газетная шумиха. Со мной поступили крайне несправедливо, и мне пришлось бежать. Ваш чемодан я открыл ради общего дела. — С напускным волнением он выдохнул слово «дела», придав ему смысл немудреного тайного пароля. — Вы позовете проводника? — Он крепче напряг ноги, — и его пальцы застыли на пуговице.

— Что вы подразумеваете под вашим делом?

— Я социалист.

Доктор Циннер остро ощутил, что о политическом движении нельзя судить по его деятелям; социализм нельзя осуждать за то, что к нему примкнул Грюнлих, но все-таки ему очень хотелось поскорее забыть о Грюнлихе.

— Я дам вам немного денег.

Он вынул записную книжку и подал знакомцу пять английских фунтов.

— Доброй ночи.

От Грюнлиха отделаться было легко, и это он мог себе позволить: в Белграде деньги потеряют для него цену. Он обойдется без защитника: защитником ему будет его собственный язык. Но труднее было отделаться от впечатления, которое оставил после себя Грюнлих: политическое движение нельзя осуждать, основываясь на бесчестности его деятелей. Он и сам иногда был безнравственным, и искренность его взглядов страдала от того, что он был тщеславным, несколько раз совершал неблагоприятные поступки, однажды девушка прижила от него ребенка... Даже мотивы его путешествия в первом классе были неоднозначны. В первом классе легче избежать пограничной проверки, но, кроме того, ехать там — удобнее и это льстило его тщеславию руководителя. Он понял, что молится. — «Боже, прости меня». Но у него совсем не было уверенности в том, что его простят, даже если существует какая-нибудь прощающая сила.

Пришел проводник, проверил его билет.

— Опять снег пошел, — сказал он. — А дальше еще хуже. Хорошо, если мы проедем без задержки.

Ему, видно, хотелось побыть еще в купе и поговорить.

— Три зимы назад мы тут намучились. Нас заваливало снегом в течение сорока восьми часов, и мы застряли на одном из самых плохих участков пути, на безлюдном балканском участке; там негде достать еды и надо экономить топливо.

— А в Белград мы приедем вовремя?

— Трудно сказать. Я по опыту знаю: перед Белградом всегда вдвое больше снега, чем по эту сторону Буды. Другое дело — по эту сторону Дуная. В Мюнхене может быть снег, а в Будае тепло, как летом. Доброй ночи, герр доктор. Такой холод, что у вас наверняка будут пациенты.

Проводник пошел по коридору, хлопая в ладоши, чтобы согреться.

Доктору Циннеру не сиделось в своем купе; его сосед вышел в Вене. Становилось невозможно разглядеть в окно даже проносящиеся мимо огни; снег забивался в каждую щель, и на стекле образовался лед. Когда проезжали мимо какой-нибудь сигнальной будки или фонаря на станции, они вклинивались между непрозрачными ледяными полосками, так что на секунду окно вагона превращалось в калейдоскоп, где перемещались отдельные разноцветные льдинки. Чтобы согреться, доктор Циннер расстегнул плащ, завернул руки в его полы и начал снова ходить по коридору. Он прошел мимо купе проводника и вышел в вагоны третьего класса — их прицепили к поезду в Вене. Почти во всех купе было темно, только под потолком горели тусклые лампочки. На деревянных полках пассажиры готовились ко сну, клали под голову скатанные пальто. Некоторые купе были так набиты, что мужчины и женщины спали сидя в два ряда, привалившись друг к другу; в тусклом свете их лица казались болезненными и невыразительными. От пустых бутылок, стоявших под полками, пахло дешевым красным вином, на полу валялись объедки черствого хлеба. Дойдя до уборных, он повернул назад, не выдержав слишком сильного запаха. От тряски дверь за ним то открывалась, то закрывалась.

«Мое место здесь убежденно подумал он — Мне надо было ехать в третьем классе. Я не хочу быть похожим на какого-нибудь депутата от лейбористской партии, который берет билет первого класса и едет голосовать вместе со своими единомышленниками в парламенте». Но он утешал себя мыслью, сколько времени ушло бы на многочисленные пересадки, и что его могли бы задержать на границе. И все-таки он сознавал, как сложны причины его поступков; он начал задумываться над этим только после того, как узнал о поражении; мысли о собственном тщеславии и о неблагоприятности мелких грешков вытеснились бы радостью и бескорыстием победы. Но теперь, когда все зависело от его способности говорить, ему хотелось произнести свою речь со скамьи подсудимых с совершенно чистой совестью. Разные мелочи из прошлого, о которых его враги никогда и не узнают, могут вспомниться и связать ему язык. «Я не сумел ничего доказать этим двум лавочникам; удастся ли мне быть убедительнее в Белграде?»

Поскольку будущее было почти наверняка небеспредельно, он начал обращаться к прошлому, а к этому он не привык. Было время, когда чистая совесть могла быть куплена ценою минутного стыда: «С тех пор как я в последний раз исповедовался, я совершил то или это». «Если бы мне удалось так легко очиститься от своих прегрешений», — подумал он со страстным желанием и с легкой горечью, — «я был бы безумцем, если бы не воспользовался этой возможностью. Теперь я сожалею о том, что сотворил, не меньше, чем сожалел тогда, но я не знаю, простят ли меня и существует ли вообще кто-то, кто дарует прощение». Он чуть было не начал издеваться над последним, во что еще верил: «Может, мне пойти исповедаться к этому казначею социал-демократической партии или к пассажирам третьего класса?» Отвернувшееся лицо священника, поднятые пальцы, шепот на мертвом языке вдруг показались ему такими прекрасными, такими бесконечно желанными и безнадежно потерянными, как юность и первое любовное свидание на углу у стены виадука.

Тут доктор Циннер заметил мистера Оупи — тот сидел один в купе второго класса и писал что-то в записной книжке. Доктор следил за ним с какой-то ущемленной завистью, — он ведь был близок к тому, чтобы предаться вере, преодолением которой сам когда-то гордился. «Ну а если вера дарует мне покой?» — возразил себе он, и, пока еще в его сознании не померкло все то, что связано с этим словом, он потянул на себя дверь и вошел в купе. Длинное бледное лицо и выцветшие глаза, отпечаток врожденной культуры смутили доктора; предложи ему это священник, он охотно признал бы превосходство его над собой; на минуту он снова стал мальчиком с невымытыми руками, в темноте исповедальни красневшим за свои немудреные грехи.

— Прошу прощения. Я вас не побеспокою? Вы хотите спать? — сказал он на своем жестком, предательском английском языке.

— Совсем не хочу. Полагаю, что не буду спать, пока благополучно не доберусь до дома, — со смехом запротестовал священник.

— Моя фамилия — Циннер.

Мистеру Оупи эта фамилия ни о чем не говорила; должно быть, ее запомнили только журналисты.

— А моя — Оупи.

Доктор Циннер закрыл дверь и сел на сиденье напротив.

— Вы священник?

Он хотел добавить «отец мой», но на этом слове запнулся: оно означало слишком многое — оно означало бледное осунувшееся лицо, любовь, которая, ожесточившись, исчезла, оставив лишь уважение, затем и оно было принесено в жертву, когда возникло подозрение, что возмужавший сын стал отступником.

— Но не римско-католического вероисповедания.

Доктор Циннер несколько минут молчал, не зная, как выразить в словах свою просьбу. Его губы буквально пересохли от жажды справедливости; она была словно стакан воды на столе в комнате другого человека. Мистер Оупи, казалось, заметил его смущение и добродушно сообщил:

— А я составляю маленькую антологию.

— Антологию? — машинально повторил доктор Циннер.

— Да, духовную антологию для мирян, нечто такое, что в англиканской церкви займет место римско-католической Книги Размышлений. — Его тонкая белая рука поглаживала черную замшевую обложку записной книжки. — Но я намерен копнуть поглубже. Римско-католические книги — как бы сказать? — касаются лишь религии. Я хочу, чтобы в моей были затронуты все стороны повседневной жизни. Вы играете в крикет?

Вопрос, застал доктора Циннера врасплох: он опять вспомнил, как стоял коленопреклоненный во тьме, совершая свой акт покаяния.

— Нет, нет.

— Ну, не важно. Вы поймете, что я имею в виду. Предположим, вы последний вступаете в игру, надеваете наколенники, восемь воротец уже свалены, надо сделать пятьдесят пробежек, и вы думаете: неужели на вас падет вся ответственность за исход игры? Ваши

сомнения не устранил ни одна из обычных Книг Размышлений, и вы, может быть, и в самом деле начнете немного сомневаться в религии. Моя цель — удовлетворить потребность такого человека.

Мистер Оупи говорил быстро, с воодушевлением, и доктор Циннер решил, что сам он недостаточно знает английский язык. Он не понимал значения слов «наколенники», «ворота», «пробежки», хотя и знал, что это связано с английской игрой в крикет; последние пять лет он уже слышал эти слова, и они ассоциировались в его сознании с обдуваемой соленым ветром площадкой, покрытой дерном, с надзором за непокорными детьми, занятыми игрой, искусством которой он не владел; но религиозное значение этих слов не доходило до него. Он подумал, что священник употребляет их метафорически: ответственность, перерождение, потребность человека — эти слова он понимал, и они давали ему возможность выразить свою просьбу священнику.

— Я хотел бы поговорить с вами об исповеди.

При звуке этих слов он на мгновение вновь стал молодым.

— Это трудная тема, — ответил мистер Оупи. Он с минуту рассматривал свои руки и потом быстро заговорил: — Я не смотрю на исповедь догматически. Думаю, здесь много можно сказать в защиту римско-католической церкви. Современная психология действует в том же направлении. Есть нечто общее в отношениях между исповедником и исповедующимся и между психоаналитиком и его пациентом. Конечно, существует и разница — исповедующийся хочет, чтобы ему отпустили грехи. Но эта разница, — торопливо продолжал мистер Оупи, когда доктор Циннер попытался что-то сказать, — в конце концов, не так уж велика. В первом случае о грехах говорят для того, чтобы они были отпущены, и человек ушел бы из исповедадьни с просветленной душой и с намерением начать жить по-новому; во втором случае одно лишь обсуждение грехов пациента и выявление бессознательных причин его поведения делается для того, чтобы исключить само желание совершать грехи. Пациент уходит от психоаналитика полный энергии, а также с намерением начать жить по новому.

Дверь из коридора отворилась, и в купе вошел мужчина.

— С этой точки зрения исповедь у психоаналитика кажется более плодотворной, чем исповедь у священника, — сказал мистер Оупи.

— Вы говорите об исповеди? — спросил вновь прибывший. — Позвольте мне отвлечь ваше внимание. Нужно учитывать и роль литературы в этом деле.

— Разрешите мне представить вас друг другу, — сказал мистер Оупи. — Доктор Циннер — мистер К. С. Сейвори. У нас и в самом деле собрались участники в высшей степени интересного спора: врач, священник и писатель.

— А вы не забыли про исповедующегося? — медленно спросил доктор Циннер.

— Я как раз хотел представить вам его, — сказал Сейвори. — В известной мере я являюсь исповедующимся. Поскольку роман основывается на жизненном опыте автора, романист исповедует перед читателями. Это ставит читателя в положение священника или психоаналитика.

Мистер Оупи возразил ему с улыбкой:

— Но ваш роман можно назвать исповедью только в том смысле, в каком ею является сновидение. Здесь должен высказаться сторонник фрейдизма. Фрейдистский цензор, — повторил он громче: поезд как раз проходил под мостом. — Что скажет нам врач?

Их любезные, живые, внимательные глаза смутили доктора Циннера. Он сидел слегка наклонив голову, неспособный передать словами горькие фразы, возникающие в его мозгу; уже во второй раз за этот вечер красноречие изменяло ему, не хватало слов; как может он положиться на свое красноречие в Белграде?

— А потом, есть ведь еще и Шекспир, — сказал Сейвори.

— А где его нет? — возразил мистер Оупи. — Он как колосс шагает по этому тесному миру. Вы имеете в виду...

— Его отношение к исповеди? Он, конечно, родился католиком.

— В «Гамлете»... — начал было мистер Оупи, но доктор Циннер не стал ждать, пока тот окончит фразу. Он встал и слегка поклонился обоим.

— Доброй ночи, — сказал он. Ему хотелось выразить свой гнев и разочарование, но он произнес только: — Очень интересно.

Коридор, едва освещенный цепью тусклых голубых лампочек, мрачный, трясущийся, тянулся через темные вагоны. Кто-то повернулся во сне и произнес по-немецки: «Невозможно. Невозможно».

Оставив доктора, Корал изо всех сил побежала с саквояжем по качающемуся поезду; она запыхалась и показалась Майетту почти хорошенькой, когда он увидел, как она дергает ручку двери купе. Он отложил корреспонденцию Экмана и список рыночных цен уже десять минут тому назад, обнаружив, что вместе с отдельными фразами или цифрами в его голове все время звучит голос девушки: «Я люблю вас». «Вот так штука, — подумал Майетт, — вот так штука».

Он посмотрел на часы. Теперь остановка будет только через семь часов, и он дал на чай проводнику. Привыкли ли они к таким любовным делам в поездах дальнего следования? В юности он читал книги о королевских послах, которых соблазняла прекрасная графиня, путешествующая одна, и теперь подумал: пошлет ли и ему когда-нибудь судьба такое приключение? Он посмотрелся в зеркало и пригладил напوماженные черные волосы. «Я недурен собой, вот только кожа была бы получше». Но, сняв меховую шубу, он невольно вспомнил, что толстеет, путешествует всего лишь по делам торговли изюмом и у него нет портфеля с запечатанными сургучом документами. «А Корал не прекрасная русская графиня, но я ей нравлюсь и у нее хорошая фигурка».

Майетт сел, потом посмотрел на часы и снова встал. Он был взволнован. «Ах ты, глупец, — подумал он, — в ней нет ничего необычного; хорошенькая, добрая, но простоватая — такую можно найти в любой вечер на Спаниердз-роуд». Но, несмотря на подобные мысли, он все же чувствовал, что в этом приключении было нечто неведомое. Может быть, дело лишь в обстоятельствах: путешествие со скоростью сорок миль в час на полке шириной немного больше двух футов. Возможно, причиной было ее восклицание за ужином; знакомые ему девушки постеснялись бы употребить такие слова, они бы произнесли: «Я люблю тебя», только если бы их спросили, но по собственной воле они скорее сказали бы: «Ты славный парень». Он стал думать о ней, как никогда не думал о какой-нибудь доступной для него женщине: «Она милая и прелестная, я хотел бы для нее что-то сделать». Ему и в голову не приходило, что у нее уже сейчас есть причины быть ему благодарной.

— Входите, — сказал Майетт, — входите.

Он отобрал у нее саквояж, задвинул его под полку и затем взял ее руки в свои.

— Ну вот я и тут, — с улыбкой произнесла она.

Несмотря на эту улыбку, ему показалось, что она напугана, и он недоумевал почему. Он отпустил ее руки, чтобы закрыть шторы на стеклах двери в коридор, и они остались одни в маленькой трясущейся коробке. Он поцеловал ее и почувствовал, что ее губы, прохладные и мягкие, неуверенно податливы. Она села на сиденье, превращенное в постель, и спросила.

— Вы сомневались, приду ли я?

— Вы же обещали!

— Я могла бы и передумать.

— А почему?

Майетта охватило нетерпение. Ему не хотелось просто сидеть и вести разговоры: она болтала ногами, не доставая ими до полу, и это возбуждало его.

— Мы чудесно проведем время.

Он снял с нее туфли, и руки его побежали вверх по чулкам.

— Вы человек опытный, правда?

Он вспыхнул.

— А вам это неприятно?

— О, я рада, очень рада. Мне бы этого не перенести, если бы вы не были таким опытным.

Ее глаза, большие, испуганные, ее лицо, бледное под тусклой голубой лампочкой, сначала забавляли его, потом показались привлекательными. Он хотел, чтобы ее отчужденность сменилась страстью. Снова поцеловав ее, он попытался спустить платье с ее плеч. Тело девушки трепетало и шевелилось под платьем, словно кошка, завязанная в мешок; вдруг она подняла к нему лицо и поцеловала его в подбородок.

— Я в самом деле люблю вас, в самом деле.

Необычное чувство все больше охватывало его. Он словно вышел из дома на ежедневную прогулку, миновал газовый завод, прошел по кирпичному мосту через Уимбль, пересек два поля и вдруг оказался не на тропинке, ведущей на холм, к новой дороге с загородными домами, а на опушке какого-то неведомого леса, у тенистой дорожки, где он никогда не ходил, и вела она бог знает куда. Он снял руки с ее плеч и, отодвинувшись, сказал:

— Какая вы милая, — а потом с удивлением добавил: — Какая близкая.

Никогда прежде не отдавал он себе отчета в том, как в нем нарастает желание и как оно еще усиливается именно потому, что он сознает это. Раньше его любовные приключения всегда начинались с примитивного возбуждения.

— Что мне делать? Раздеться?

Он кивнул — ему трудно было говорить — и увидел, как она встала с постели, пошла в угол и начала раздеваться, медленно и очень старательно снимая каждую вещь по очереди: блузку, юбку, рубашку, лифчик — и складывая все это в аккуратную стопку на противоположном сиденье. Наблюдая за ее неторопливыми, сосредоточенными движениями, он понимал, как несовершенно его собственное тело.

— Вы такая прелестная, — сказал он, слегка запинаясь от неведомого раньше волнения.

Когда она прошла к нему из другого конца купе, он понял, что обманулся: ее спокойствие было подобно натянутой струне, лицо ее пылало от возбуждения, а глаза глядели испуганно; она не знала, смеяться ей или плакать. Но тут они обнялись в узком пространстве между полками.

— Вот если бы еще свет погас, — сказала Корал. Она стояла прижавшись к нему, а он поглаживал ее, и оба они легко покачивались в такт движению поезда.

— Нет, а я хотел бы полностью зажечь его, — возразил он.

— Это было бы более подходяще, — сказала она и тихо засмеялась про себя. Ее смех, словно едва заметный ручеек, был еле слышен на фоне пыхтения и дребезжания экспресса, и, разговаривая, они, вместо того чтобы шептывать друг другу ласковые слова, должны были произносить их громко и отчетливо.

Ощущение необычности не исчезло и после привычного для него сближения: лежа на постели, она оказалась какой-то таинственно и по-детски несведущей, и это поразило его. Она больше не смеялась, причем смех ее прекратился не постепенно, а сразу, так что Майетт подумал — может, он принял за ее смех скрип бегущих колес.

— Наберись терпения. Я совсем неопытная, — вдруг серьезно сказала она.

И потом вскрикнула от боли. Появился в купе привидение, закутанное в древние одежды, какие носили еще до изобретения паровоза, Майетт не был бы так поражен. Он отодвинулся бы от нее, если бы она не удержала его руками и не сказала еле слышным голосом, почти полностью заглушённым ревом поезда:

— Не уходи. Прости меня. Я не хотела...

Потом внезапно остановившийся поезд отбросил их друг от друга.

— Что случилось? — спросила Корал.

— Станция.

— Зачем это, как раз сейчас? — огорченно проговорила она.

Майетт немного приотворил окно и высунулся наружу. Тусклая цепь огоньков освещала только несколько футов земли возле линии. Снег уже лежал слоем толщиной во много дюймов, где-то далеко мерцал красный свет, он то зажигался, то гас в белом буране.

— Это не станция. Только семафор, он нас задерживает.

Скрип колес прекратился, и наступила ночная тишина; ее нарушил лишь свисток паровоза; здесь и там люди просыпались, выглядывали из окон и переговаривались. Из вагона третьего класса в хвосте поезда донеслись звуки скрипки. Мотив был простой, забавный, четкий; проникая сквозь мглу и снегопад, он становился все менее отчетливым, но все же вытеснил из сознания Майетта чувства растерянности и сожаления.

— Я и понятия не имел. Как я мог догадаться?

И тут же, в вагоне, у них возникло такое теплое чувство друг к другу, что он, не закрывая окна, опустился на колени возле постели и стал поглаживать ее лицо, касаясь его пытливыми пальцами. И опять им завладели неведомые ранее чувства: «Какая милая, какая близкая». Она лежала тихо и неровно дышала от боли или от волнения.

Кто-то в одном из вагонов третьего класса начал по-немецки ругать скрипача, заявляя, что шум не дает ему спать. Он, видимо, не понимал, что спал под грохот поезда и его разбудила тишина, на фоне которой стали слышны ясные звуки. Скрипач ответил бранью и продолжал пикировать, несколько человек заговорили одновременно, кто-то засмеялся.

— Ты разочарован? Я оказалась никуда не годной?

— Ты была прелестна. Но я никак не мог подумать. Зачем же ты пришла?

Стараясь избавить его от чувства растерянности, она ответила легким, как звуки скрипки, тоном:

— Должна же девушка когда-то пройти через это.

Он снова погладил ее по щеке.

— Я сделал тебе больно.

— Да уж, нелегкое это дело!

— В следующий раз... — начал он, но она его перебила, и ее серьезный тон рассмешил его:

— Так, значит, будет и следующий раз? Значит, со мной все в порядке?

— А ты хочешь, чтобы был следующий раз?

— Да, — ответила она, но думала в тот момент не об его объятиях, а о квартире в Константинополе, о собственной спальне, о том, чтобы ложиться спать в десять часов. — Сколько времени ты пробудешь там?

— Может быть, месяц. Может быть, дольше.

— Как мало, — прошептала она с таким сожалением, что он принялся утешать ее обещаниями, хотя и знал, что будет жалеть о них, когда наступит день.

— Ты сможешь вернуться со мной. Я найму тебе квартиру. — Ее молчание, казалось, подтверждало, насколько несбыточны его обещания. — Ты мне не веришь?

— Просто невероятно, — произнесла она голосом, полным доверия.

Он был тронут отсутствием в ней кокетства, и вдруг его снова поразила мысль: он был ее первым любовником.

— Послушай, ты придешь опять завтра?

Она стала отказываться, искренне опасаясь, что надоест ему прежде, чем они приедут в Константинополь. Он ее даже не слушал.

— Я устрою ужин — отпраздновать это...

— Где? В Константинополе?

— Нет. Мне там некого приглашать.

И на миг мысль об Экмани омрачила его радостное настроение.

— Значит, в поезде? — Она опять засмеялась, но на этот раз весело и без всякого страха.

— А почему бы и нет? — Слова его прозвучали немного хвастливо. — Я приглашу всех. Это

будет нечто вроде свадебного ужина.

— Только без свадьбы, — поддразнила она его.

Но ему все больше нравилась эта затея.

— Я приглашу всех: доктора, этого типа из второго класса, того любопытного субъекта, помнишь его? — Он секунду поколебался. — И ту девушку.

— Какую девушку?

— Племянницу твоей знакомой.

Но его красноречие немного угасло при мысли о том, что эта дама никогда не примет его приглашения: она не из варьете. Ему стало стыдно своей неблагодарности. «Про нее нельзя сказать, что она миленькая, уступчивая или простоватая, она красавица, на такой женщине я хотел бы жениться. — И какой-то миг он с горечью думал: — Такая мне недоступна». Потом к нему вернулось хорошее настроение.

— Я найму скрипача, — похвастался он, — пусть играет нам за ужином.

— Ты не осмелишься пригласить их, — сказала она с сияющими глазами.

— Осмелюсь. Уж они-то никогда не откажутся от такого ужина. Я закажу самое лучшее вино, какое только у них есть, — сказал он, быстро подсчитывая стоимость вина и предпочитая не вспоминать о том, что поезд превращает все вина в самые дешевые. Ужин будет стоить по два фунта с человека.

От удовольствия она захлопала в ладоши.

— Ты никогда не осмелишься сказать им, по какому поводу.

— Я сообщу им, что пригласил их выпить за здоровье моей возлюбленной.

Потом Корал долго лежала спокойно, думая об этом слове и связанном с ним комфорте, о прочном положении, почти порядочной жизни. Затем она покачала головой:

— Просто невероятно!

Но свист пара и стук пришедших в движение колес заглушил эти выражавшие сомнение слова.

В то время как буфера между вагонами столкнулись, и зеленый свет семафора медленно поплыл назад, Йозеф Грюнлих говорил себе: «Я президент республики». Он проснулся в тот момент, когда джентльмен во фраке собирался преподнести ему золотой ключ, которым отпирался сейф с капиталами нового города. Он окончательно проснулся, понял, где находится, и вспомнил весь свой сон. Положив руки на круглые колени, он засмеялся. «Президент республики — совсем неплохо, а почему бы и нет? Я бы наговорил там с три короба. За один день провел и Кольбера, и этого доктора. Он дал мне пять английских фунтов потому, что у меня голова варит, и я сразу угадал, что это за птица, стоило ему произнести: «Тайный агент полиции». Проворный — вот какой я, Йозеф Грюнлих. «Гляньте-ка туда, герр Кольбер». Выхватываю револьвер, целюсь, стреляю — и все в одну секунду. Да еще и смылся. Йозефа поймать невозможно. Что там спросил этот священник? — Йозеф засмеялся утробным смехом. — «Вы в Германии играете в крикет?» А я ответил: «Нет, нас там учат бегать. В свое время я был выдающимся бегуном». Я за словом в карман не полез, а

он так и не понял шутки — вспомнил каких-то Собса и Худлиха. Но все-таки приятного было мало, когда доктор увидел, что чемодан не на месте, — подумал Йозеф. — Я схватился за шнурок. Если бы он попытался позвать проводника, я выстрелил бы ему в живот, он не успел бы и слова вымолвить».

Йозеф опять радостно засмеялся, чувствуя, как револьвер слегка трется о ссадину на внутренней стороне ноги. «Я выпустил бы ему кишки».

ЧАСТЬ IV.

СУБОТИЦА

I

Лампочка телеграфного аппарата в конторе начальника станции Суботица замерцала; точки и тире рассыпались по пустой комнате. Лукич, чиновник, сидевший в углу багажного отделения, слышал их через открытую дверь и проклинал эти докучные звуки. Но встать не потрудился.

— В такой час не может быть ничего важного, — пояснил он приемщику багажа и Ниничу, молодому солдату в серой форме.

Лукич тасовал колоду карт как раз в тот момент, когда часы пробили семь. За окном солнце нерешительно освещало грязный полурастаявший снег, поблескивали мокрые рельсы. Нинич потягивал из рюмки ракию; от крепкой сливовой водки на глаза его навернулись слезы; он был еще совсем молодой.

Лукич продолжал тасовать карты.

— А что это передают, как ты думаешь? — спросил приемщик багажа.

Лукич покачал темноволосой взъерошенной головой:

— Определенно сказать, конечно, нельзя. И удивляться тут нечему. Так ей и надо.

Приемщик захихикал. Нинич поднял темные глаза, не выражавшие ничего, кроме простодушия, и спросил:

— А кто она?

Ему показалось, что телеграфный аппарат заговорил властным женским голосом.

— Эх вы, солдаты, — сказал приемщик багажа. — Не знаете и половины того, что творится вокруг вас.

— Это верно, — сказал Нинич. — Мы часами стоим с примкнутыми штыками. Уж не война ли опять начинается, а? Мы беспрестанно шагаем от казармы до станции. Нам некогда замечать, что делается вокруг.

«Точка, точка, точка, тире», — продолжал отстукивать телеграф. Лукич разделил колоду на три равные кучки; иногда карты склеивались, и тогда он слюнил пальцы, разъединяя их.

Потом положил перед собой все три кучки в ряд.

— Это, наверное, жена начальника станции, — объяснил он. — Когда она уезжает на неделю, то посылает ему телеграммы каждый день в самое неподходящее время. Поздно вечером или рано утром. Полно нежностей. Иногда стихами: «Будь счастлив и в разлуке, голубок, твоя голубка шлет тебе любовь» — или: «Твоя жена всегда в твоей судьбе. Не забывай, что я верна тебе».

— Зачем она это делает? — спросил Нинич.

— Боится, что он лежит в постели с какой-нибудь служанкой. Думает, он станет раскаиваться, если получит от нее телеграмму в самый интересный момент.

Приемщик захихикал.

— И конечно, самое смешное — он и не глядит на служанок. У него наклонности совсем другие, надо бы ей знать.

— Ваши ставки, господа, — сказал Лукич; он внимательно следил за ними, когда они клали медные монеты на две из трех кучек. Потом стал сдавать все кучки по очереди. В третьей, на которую не положили денег, оказался бубновый валет. Лукич перестал сдавать карты и положил монеты к себе в карман.

— Выигрывает банк, — объявил он и передал карты Ниничу. Это была совсем простая игра.

Приемщик загасил окурочек и, пока Нинич тасовал карты, закурил другую сигарету.

— С поезда есть какие-нибудь новости?

— В Белграде все тихо, — сказал Лукич.

— А телефон работает?

— Вот тут дело плохо. — Телеграф замолк, и Лукич вздохнул с облегчением. — Ну хоть это прекратилось.

Солдат вдруг перестал тасовать карты и неуверенно произнес:

— Хорошо, что меня не было в Белграде.

— Борьба, паренек, — весело сказал приемщик.

— Ну, конечно, но ведь это был наш народ, правда? — робко возразил Нинич. — Другое дело, если бы болгары.

— Или ты убьешь, или тебя убьют, — сказал приемщик. — ну что же ты, сдавай, паренек.

Нинич начал сдавать; он несколько раз сбивался со счета, очевидно задумался.

— А потом, чего они хотели? Чего добивались?

— Они же красные, — вмешался Лукич. — Бедняки. Ваши ставки, господа, — машинально добавил он.

Лукич положил все выигранные им медяки на ту же кучку, что и приемщик; он переглянулся с ним и подмигнул ему — тот увеличил ставку. Нинич был слишком поглощен медленно текущими неуклюжими мыслями и не заметил, что во время сдачи было видно, в какую кучку попал валет. Приемщик не мог удержать смешок.

— В общем-то, я тоже бедняк, — сказал Нинич.

— Мы сделали ставку, — нетерпеливо прервал его Лукич, и Нинич стал сдавать.

Глаза у него широко раскрылись, когда он увидел, что оба они выиграли; на миг лицо его выразило неясное подозрение, он отсчитал монеты и встал.

— Ты не хочешь больше играть? — спросил Лукич.

— Пора обратно в караулку.

Приемщик усмехнулся:

— Он проиграл все деньги. Налей ему перед уходом еще ракии, Лукич.

Лукич налил Ниничу второй стакан и остановился с заткнутой бутылкой в руке. Зазвонил телефон.

— Вот дьявол, — выругался он, — опять эта баба.

Поставив бутылку на стол, он пошел в другую комнату. Бледные лучи солнца проникали в окно, они касались корзин и чемоданов, нагроможденных за прилавком. Нинич поднял стакан, а приемщик сидел, положив палец на колоду карт, и прислушивался.

— Алло, алло! — заорал Лукич. — Кого вам надо? Телеграф? Я ничего не слышал. Не могу же я торчать возле него все время. У меня хватает дела на станции. Скажите этой бабе, чтобы она посылала свои телеграммы в подходящее время. Что такое? — Его голос вдруг изменился. — Очень извиняюсь, господин майор. Я никак не думал... (Приемщик захихикал.) Конечно. Немедленно, господин майор, немедленно. Сейчас же пошлю, господин майор. Если вы подождете у телефона две минуты, господин майор...

Нинич вздохнул и вышел на морозный воздух маленькой станции; тут не было даже платформ. Он забыл надеть перчатки; и прежде чем успел натянуть их, его пальцы заоченели от холода. Ноги его медленно тащились по свежему полурастаявшему и потом полузамерзшему грязному снегу. «Нет, я рад, что меня не было в Белграде, — подумал он. — Все это непонятно: они бедняки, и я тоже бедняк; у них жены и дети, и у меня жена и маленькая дочка, они, должно быть, ожидали от этого какой-то пользы для себя, те, красные». Солнце, поднявшееся над крышей таможни, коснулось его лица, как будто намекнуло на тепло; запасной паровоз стоял, словно бродячая собака, выдыхая пар над рельсами. До прихода Восточного экспресса ни одного поезда на Белград не ожидалось; в течение получаса поднимутся шум и суматоха, придут таможенники, пограничники выйдут из караулки и на виду у всех построятся перед ней, потом поезд запыхтит и уйдет, и за весь день будет еще только один поезд, маленький местный поезд, идущий в Винковичи. Нинич засунул руки в пустые карманы; тогда можно будет выпить еще ракии и сыграть в карты, но у него не было денег. И снова легкое подозрение, что его надули, мелькнуло в его упрямой голове.

— Нинич, Нинич!

Он оглянулся и увидел, как помощник начальника станции бежит за ним без пальто и перчаток, проваливаясь в ледяную жижу. Нинич подумал: «Он обобрал меня, но устыдился бога и собирается вернуть мне деньги». Он остановился и улыбнулся Лукичу, как будто хотел сказать: «Не бойся, я не сержусь на тебя».

— Ты что, дурень, оглох, я думал, мне никак до тебя не докричатся, — сердито сказал маленький помощник начальника станции и подбежал к нему, задыхаясь от злобы. — Сейчас же отправляйся к майору Петковичу. Его зовут к телефону. Я не мог дозвониться до караулки.

— Телефон со вчерашнего вечера не работает, — объяснил Нинич, — с тех пор как пошел снег.

— Вот растяпы, — взорвался Лукич.

— Сегодня должен был приехать мастер из города, заняться этим. — Нинич помолчал. — Майор и шагу по снегу не ступит. У него в кабинете так жарко топится печь.

— Дурак. Идиот, — оборвал его Лукич. — Там звонит начальник полиции из Белграда. Они пытались послать телеграмму, но вы так громко орали, разве тут услышишь? Ступай. — Нинич направился к караулке; помощник закричал ему вслед: — Бегом, идиот, бегом!

Нинич пустился бежать, но ему мешали тяжелые сапоги. «Смотри ты, — думал он, — обращаются, как с собакой. — Но секунду спустя ему пришло в голову другое: — В общем-то, хорошо, что они играют со мной в карты; наверное, зарабатывают в день столько, сколько я в неделю, и жалованье получают полностью», — подумал он, вспомнив, сколько вычитают у него самого за питание, за квартиру, за дрова.

— Майор на месте? — спросил он, войдя в караулку и робко постучал в дверь. Он мог передать сообщение через сержанта, но того не было в караулке, да и неизвестно, когда еще появится возможность выполнить специальное поручение, — за это могут повысить по службе, тут, глядишь, увеличат жалованье, значит, будет больше еды, новое платье для жены.

— Войдите.

Майор Петкович сидел за письменным столом лицом к двери — Он был невысокого роста, худощавый, с острыми чертами лица и носил пенсне. Вероятно, в его семье существовала примесь иноземной крови — волосы у него были светлые. Он читал какой-то устаревший немецкий учебник по стратегии и кормил собаку кусочками колбасы. Нинич завистливо посмотрел на ревуший в печи огонь.

— Ну, что там такое? — раздраженно спросил майор, словно школьный учитель, которому помешали проверять ученические тетради.

— Звонит начальник полиции, господин майор, и вызывает вас к телефону в контору начальника станции

— А наш-то телефон разве не работает? — спросил майор, положив книгу и не очень успешно стараясь скрыть любопытство и возбуждение; ему хотелось создать впечатление, будто он на короткой ноге с начальником полиции.

— Нет, господин майор, мастер из города еще не приезжал.

— Вот досада. А где сержант?

— Он на минутку вышел, господин майор.

Майор Петкович схватил перчатки и натянул их на руки.

— Вам лучше пойти со мной. Возможно, мне понадобится связной. Вы писать умеете?

— Совсем немного, господин майор.

Нинич боялся, что майор возьмет себе другого посыльного, но тот только сказал.

— Побыстрее.

Нинич и собака пошли следом за майором через караулку и перешли рельсы. В помещении начальника станции сидящий в углу Лукич старательно делал вид, что работает, а приемщик вертелся возле двери, подсчитывая число сданных мест на большом листе бумаги.

— Линия совершенно свободна, господин майор, — сказал Лукич, бросив за спиной майора хмурый взгляд на Нинича; он завидовал солдату — тот стоял близко от аппарата.

— Алло, алло, алло, — кисло произнес майор Петкович.

Солдат слегка наклонил голову в сторону телефона. Через огромное расстояние между границей и Белградом доносился звук этого хорошо поставленного и властного голоса с таким ясным произношением, что даже Нинич, стоявший в двух шагах от аппарата, мог уловить отчетливые слова. Они падали друг за другом, словно поток булавок, вонзающихся в глубокую тишину. Лукич и приемщик багажа напрасно затаили дыхание: запасной паровоз на линии уже перестал пыхтеть.

— Говорит полковник Хартеп.

«Это и есть начальник полиции, — подумал Нинич, — и я слышал его голос; как загордится сегодня вечером жена; эта история обойдет все казармы, тут уж на нее можно положиться. Ей нечего особенно гордиться мною; она довольствуется тем, что у нее есть», — подумал он простодушно, не переоценивая себя.

— Да, да, это майор Петкович.

Властный голос заговорил потише; теперь Нинич улавливал только обрывки фраз.

— Ни в коем случае... Белград... общите поезд...

— Доставить его в казарму?

Голос стал немного резче.

— Нет — Нужно, чтобы его видели как можно меньше людей... На месте.

— Но послушайте, — запротестовал майор Петкович. — У нас здесь для этого ничего не приспособлено. Что нам тут с ним делать?

— ... Всего несколько часов...

— Трибунал? Но это же совсем не по инструкции.

Голос тихо засмеялся.

— Я сам... с вами... за завтраком...

— А если его оправдают?

— ... Я сам, — неясно произнес голос, — вы, майор, капитан Алексич. — Голос еще понизился. — Без шума... в узком кругу. — И потом произнес более ясно: — Он, скорее всего, не один... подозрительные личности... по любому поводу... таможня. Учтите. Не надо суетиться.

— Есть еще что-нибудь, полковник Хартеп? — с заметным неодобрением спросил майор Петкович.

Голос стал слегка дружелюбнее.

— Да, да. Насчет завтрака. Полагаю, у вас там нет большого выбора... На станции... как следует протопите... что-нибудь горячее... я еду машиной, привезу холодные закуски и вино.
— Наступила пауза. — Так помните, вы за все отвечаете.

— За такое незаконное дело... — начал майор Петкович.

— Нет, нет, нет, — сказал голос. — Я, конечно, имел в виду завтрак.

— В Белграде все спокойно? — натянуто спросил майор.

— Крепко спят, — ответил голос.

— Могу я задать еще один вопрос? Алло, алло, алло, — повторил раздраженным тоном майор Петкович и потом со стуком положил трубку. — Где тот солдат? Пойдемте со мной.

И опять в сопровождении Нинича и собаки он окунулся в холод, пересек пути, прошел через караулку и захлопнул за собой дверь своей комнаты. Затем очень быстро написал несколько записок и приказал Ниничу доставить их по назначению. Он так торопился и был так раздражен, что две из них забыл запечатать. Нинич, конечно, прочел их — вечером жена будет им гордиться. Одна записка была адресована начальнику таможни, но эта была запечатана, другая — капитану в казарму с приказом немедленно удвоить охрану станции и выдать каждому солдату по двадцать обойм патронов. Ниничу стало не по себе: не означало ли это, что начнется война, что наступают болгары? Или красные? Он вспомнил о событиях в Белграде и очень взволновался. В конце концов, красные — это же наши люди, они бедняки, у них есть жены и дети. Последняя записка была адресована казарменному повару — это была подробная инструкция о завтраке на троих, его следовало подать в кабинет майора в час тридцать. «Имейте в виду, это на вашу ответственность» — так заканчивалась записка.

Когда Нинич вышел из кабинета, майор Петкович снова принялся читать устаревший немецкий учебник по стратегии и кормить собаку кусочками колбасы.

II

Корал Маскер уснула задолго до того, как поезд дошел до Будапешта. Когда Майетт вытащил затекшую руку из-под ее головы, она проснулась. Было серое, как мертвая зыбь свинцового моря, утро. Потом проворно слезла с полки и оделась; каждое движение все больше удаляло ее от утомительных событий прошедшей ночи; от волнения и спешки ей не сразу удавалось находить свои вещи. Одеваясь, она весело напевала: «Я такая счастливая. Я такая везучая». Рывок поезда отбросил ее к окну, но она только быстро взглянула на хмурое утреннее небо. Там и здесь постепенно гасли огни, но было еще недостаточно светло, чтобы различить дома; освещенный фонарями мост через Дунай блестел, словно пряжка от подвязки. «Куда мне надо, я иду и свою песенку пою». Где-то на берегу реки светился белый дом; его можно было принять за ствол дерева во фруктовом саду, если бы не два светлых огонька в комнатах нижнего этажа; пока она следила за ними, огоньки погасли. «Наверное, засиделись за праздничным столом; любопытно, что там происходит?» — подумала она и улыбнулась, чувствуя себя заодно со всем дерзким, вызывающим, молодым. «То, что тревожит тебя, никогда не тревожит меня. Лето сменяет весну, ты видишь улыбку мою...» Теперь она надела на себя все, кроме туфель, и повернулась к постели и к Майетту.

Он спал беспокойно, подбородок у него был небритый, одежда смялась, и Корал лишь с трудом могла поверить, что он имеет отношение к волнению и боли прошлой ночи. Это был чужой человек, вторгшийся в ее жизнь, он мог отказаться от слов, которые произнес в

темноте. Ей было обещано так много. Но она убеждала себя: подобный дар судьбы вряд ли выпадет ей на долю. Снова приходили на ум слова пожилых и опытных женщин: «Они до этого наобещают тебе чего угодно», и необычный моральный кодекс ее класса предупреждал: «Ты не должна напоминать ему о его обещаниях». Но она все-таки подошла и попыталась ласково пригласить его волосы, чтобы они стали хоть немного похожи на те, какие в мечтах обрамляли лицо ее возлюбленного. Когда Корал коснулась его лба, он открыл глаза, и она смело встретила его взгляд; ей было страшно прочесть в нем минутную отчужденность — вдруг он не узнал ее и забыл о том, кто она и что они делали вместе. Она подбадривала себя пословицей: «Свято место пусто не бывает», но, к ее радостному удивлению, ему не потребовалось усилий, чтобы вспомнить:

— Да, ведь нам надо пригласить скрипача.

Она с облегчением захлопала в ладоши:

— И не забудь про доктора.

Корал села на край полки и всунула ноги в туфли. «Я так счастлива». Он помнит, он собирается сдержать свое обещание. Она снова принялась петь: «При солнечном свете живу, при лунном же свете люблю. И время проходит чудесно».

Проводник шел по коридору и стучал в двери купе:

— Будапешт.

Огни слились воедино; над противоположным берегом реки горели три звезды, словно их уронило затянутое тучами небо.

— Что это? Там. Сейчас проедем. Быстро.

— Это замок, — сказал он.

— Будапешт.

Йозеф Грюнлих, дремавший в своем углу, сразу проснулся и подошел к окну. Мимо, между высокими серыми домами, промелькнула вода; огни, горевшие на верхних этажах, вдруг исчезли за аркой вокзала; затем поезд проскользнул под крышу огромного гулкового зала и остановился. Из вагона тут же выскочил мистер Оупи, проворный, добродушный и нагруженный вещами; он швырнул на платформу два чемодана, мешок с принадлежностями для гольфа, теннисную ракетку в чехле. Йозеф усмехнулся и выпятил грудь; вид мистера Оупи напомнил ему о его преступлении. Человек в форме агентства Кука прошел мимо, сопровождая высокую унылую женщину и ее мужа; они, спотыкаясь, шли за ним по пятам, растерянные и испуганные свистком паровоза и криками на непонятных языках. Йозеф подумал, что ему стоит выйти из поезда. И сразу же, поскольку дело касалось безопасности, мысли его перестали быть ироничными или напыщенными; маленькие аккуратные колесики в его мозгу заработали и, подобно контрольному аппарату в банке, стали с безупречной точностью регистрировать дебет и кредит. В поезде он практически был уже в заключении: полиция могла его арестовать в любом пункте следования, поэтому чем скорее он будет на свободе, тем лучше. Как австриец, он беспрепятственно пройдет проверку в Будапеште. Если он поедет до Константинополя, то еще трижды подвергнется риску таможенных досмотров. Механизм в его мозгу снова проверял цифры, прибавлял, учитывал и пришел к выводу, что нужно решить в пользу дебета. Полиция в Будапеште квалифицированная, в Балканских странах она продажная — там нечего бояться таможи. И он будет дальше от места преступления. В Стамбуле у него есть друзья. Йозеф Грюнлих решил ехать дальше. Приняв

это решение, он снова погрузился в сон победителя: в голове его мелькали стремительно выхваченные револьверы, какие-то голоса говорили о нем: «Это Йозеф. Уже пять лет, а он ни разу не сел. Он убил Кольбера в Вене».

— Будапешт.

Доктор Циннер перестал писать немного раньше. Эта маленькая пауза была данью уважения к городу, где родился его отец. Уехав из Венгрии молодым человеком, отец поселился в Далматии; в Венгрии он трудился на земле, ему не принадлежавшей; в Сплите и, в конце концов, в Белграде он овладел сапожным ремеслом и стал работать на себя; и все же прежнее, еще более рабское существование и унаследованная от отца кровь венгерского крестьянина позволяли доктору Циннеру ощущать дыхание широкой цивилизации, доносившейся в темные, зловонные балканские переулки. Он был словно афинский раб, ставший свободным человеком в нецивилизованной стране: тот тосковал по статуям, поэзии, философии, — словом, по культуре, к которой сам был непричастен. Станция начала уплывать от доктора Циннера, проносились названия на языке, которому отец его не учил: «Restoracioj», «Posto», «Informoj».[14] Совсем близко от окна вагона промелькнула афиша «Teatnoj Kaj Amuzejoj»,[15] и он машинально запомнил незнакомые названия театров и кабаре, которые откроются как раз тогда, когда поезд подойдет к Белграду: «Опера», «Ройал Орфеум», «Табарен» и «Жарден де Пари». Он вспомнил, как отец рассуждал в темной подвальной комнате за мастерской: «В Буде весело живут». Его отец также однажды поразвлекся в центре города. Прижавшись лицом к витрине ресторана, он без зависти наблюдал, какие подают кушанья, видел скрипачей, переходивших от одного столика к другому, и простодушно веселился со всеми. Циннера сердило то, что отец его довольствовался столь малым.

Доктор писал еще минут десять, а потом сложил бумагу и сунул ее в карман плаща. Он хотел быть готовым к любой случайности, знал, что его враги не щепетильны: они предпочтут убить его на какой-нибудь глухой улице, лишь бы не видеть живым на скамье подсудимых. В его положении было одно преимущество — они не знали о его приезде; ему надо было объявить о своем добровольном возвращении в Белград прежде, чем им станет известно о его появлении, ведь тогда уже будет невозможно тайно убить никому не известного человека — у них не останется иного выхода, как только предать его суду. Он открыл чемодан и вынул оттуда «Бедекер». Потом зажег спичку и поднес ее к углу карты; гляцевая бумага горела медленно. Железная дорога на карте взорвалась язычком пламени, и он смотрел, как сквер у почты превратился в жесткую черную золу. Потом зелень парка «Калимагдан» стала коричневой. Улицы трущоб загорелись последними, и он подул на пламя, чтобы поторопить его.

Когда карта сгорела дотла, он бросил золу под сиденье, положил под язык горькую таблетку и попытался уснуть. Но это никак не удавалось. Ему было не до веселья, а то бы он, неожиданно почувствовав облегчение, улыбнулся, когда увидел, миль за пятьдесят от Буды, холм в форме наперстка, поросший елями, который нарушал однообразие бескрайней Дунайской равнины. Чтобы обогнуть этот холм, шоссе делало большой крюк, потом прямо устремлялось к городу. И дорога, и холм теперь были белы от снега, лохмотьями висевшего на деревьях, словно грачиные гнезда. Он запомнил дорогу, холм и лес — это было первое, что он увидел, ощутив полную безопасность, когда бежал, переправившись через границу, пять лет назад. Его спутник, сидевший за рулем, нарушил молчание впервые с тех пор, как они выехали из Белграда, и сказал: «Приедем в Буду через час с четвертью».

До сих пор доктор Циннер не испытывал чувства безопасности. Теперь ему стало легче на сердце совсем по иной причине. Он думал не о том, что находится всего в пятидесяти милях от Будапешта, а о том, что до границы всего семьдесят миль. Он был почти дома. Его чувства

в тот момент взяли верх над рассудком. Бесполезно было бы говорить себе: «У меня нет дома, я направляюсь в тюрьму»; причиной этой минутной радости, охватившей его, было приближение к пивной Крюгера в саду, к парку, залитому по вечерам зеленым светом, к крутым улочкам с развешанным поперек них ярким тряпьем. «В конце концов, я все это увижу снова, — подумал он, — ведь меня повезут из тюрьмы в суд». И тут он вспомнил с вдруг нахлынувшей на него грустью, что на месте пивной теперь жилые дома.

За завтраком Корал и Майетт сидели по обе стороны столика как чужие и испытывали от этого неизмеримое облегчение. Накануне, во время ужина, они вели себя словно старые друзья, которым нечего сказать друг другу. За завтраком они говорили громко и не умолкая, будто поезд поглощал не мили, а время и им приходилось заполнять эти часы разговорами, которых хватило бы на целую жизнь вместе.

— А когда я приеду в Константинополь, что я буду делать? У меня уже снята комната.

— Не думай об этом. Я заказал номер в отеле. Ты поселишься у меня, и у нас будет двойной номер.

Она согласилась с ним, от радости у нее перехватило дух, но сейчас было не время молчать, сидеть спокойно. Скалы, дома, голые пастбища проносились мимо со скоростью сорок миль в час, а еще многое надо было сказать.

— Мы ведь приезжаем рано утром? Что мы будем делать целый день?

— Позавтракаем вместе. Затем мне надо будет пойти в контору, посмотреть, как там дела. А ты можешь походить по магазинам. Я приду вечером, мы пообедаем и пойдем в театр.

— Да? А в какой театр?

Ей было странно видеть, как сильно изменила все эта ночь. Его лицо уже не походило на лица тех юношей, с которыми она была знакома довольно близко, даже жест его руки — он беспрестанно предлагал что-то, произвольно раскрывая ладонь, — стал совсем другим; его воодушевление, когда он говорил, сколько он истратит на нее, какие удовольствия ей доставит, было замечательно — ведь она верила ему.

— У нас будут лучшие места в твоём театре.

— У «Девочек Данна»?

— Да, а потом мы всех их пригласим на ужин, если захочешь.

— Нет. — Корал покачала головой; тут она рисковала потерять его, ведь многие из «Девочек Данна» могли оказаться красивее ее. — После театра давай пойдем домой и ляжем спать.

Они фыркнули, расплескав из чашек коричневые капли кофе на скатерть. Она смеялась без всяких опасений, счастливая оттого, что боль была позади.

— Знаешь, сколько мы уже сидим за завтраком? — спросила она. — Целый час. Раньше со мной такого не бывало. Чашка чая в постели в десять часов — вот и весь мой завтрак. Еще два тостика и немного апельсинового сока — это когда у меня добрая квартирная хозяйка.

— А если у тебя не было работы?

Она засмеялась.

— Тогда я исключала апельсиновый сок. Мы сейчас близко от границы?

— Очень близко. — Майетт закурил сигарету. — Ты куришь?

— По утрам — нет. Оставляю тебя покурить.

Корал встала, в этот момент поезд со скрежетом переезжал стрелку, и ее отбросило к нему. Она схватила его за руку, чтобы восстановить равновесие, и через его плечо увидела, как с головокружительной быстротой проскочили мимо и скрылись из виду сигнальная будка и черный сарай, заваленный снегом. Секунду она подержалась за его руку, пока голова у нее не перестала кружиться.

— Милый, приходи скорей. Я буду ждать тебя.

Корал вдруг захотелось сказать ему: «Пойдем со мной». Она боялась оставаться одна, пока поезд будет стоять. Чужие люди могли зайти и сесть на место Майетта, и она не сможет ничего втолковать им. И не поймет, что ей говорят таможенники. Но тут же подумала: Майетт быстро охладает к ней, если она будет постоянно предъявлять на него права. Надоедать мужчинам небезопасно, ее счастье не так прочно, чтобы посметь рисковать им хоть самую малость. Она посмотрела назад: он сидел слегка склонив голову и поглаживая пальцами золотой портсигар. Впоследствии она была счастлива, что бросила на него этот прощальный взгляд, он должен был служить эмблемой верности, она навсегда сохранит его образ, и это даст ей право сказать: «Я никогда не покидала тебя». Поезд остановился, когда она, дойдя до своего купе, оглядела в окно маленькую грязную станцию. На двух лампах написано черными буквами: «Суботица»; станционные здания чуть повыше ряда сараев; тут же и платформа. Группа таможенников в зеленой форме шла между путями в сопровождении полдюжины солдат, таможенники, по-видимому, не торопились начать осмотр. Они смеялись и разговаривали, направляясь к служебному вагону. У путей в ряд стояли крестьяне, глядя на поезд, женщина кормила грудью ребенка. Вокруг слонялось без дела много солдат, один из них отогнал от поезда крестьян, но те опять скопились у линии, отойдя метров на двадцать от станции. Пассажиры начали выражать нетерпение: поезд и так уже опаздывал на полчаса, а никто еще не собирался приступить к осмотру багажа или проверке паспортов. Несколько пассажиров выбрались на насыпь и перешли через рельсы в поисках какого-нибудь буфета; высокий тощий немец с круглой головой беспрестанно прохаживался взад и вперед по платформе вдоль поезда. Корал Маскер видела, как доктор вышел из вагона в мягкой шляпе, в плаще, в серых шерстяных перчатках. Он и немец все время проходили мимо друг друга, но оба словно двигались в разных мирах — так мало внимания обращали они один на другого. На некоторое время они оказались рядом, пока чиновник проверял их паспорта, но и тут оба принадлежали к разным мирам: немец негодовал и выражал нетерпение, доктор безучастно улыбался про себя.

Корал вышла на платформу, приблизилась к доктору. Его улыбка, добрая и рассеянная, показалась ей такой же неуместной здесь, как резная фигурка на ветхих балясинах.

— Простите, что я обращаюсь к вам, — сказала она, немного смущенная его чопорной почтительностью. Он поклонился и заложил за спину руки в серых перчатках; она заметила дырку на большом пальце. — Я думала... мы думали... не поужинаете ли вы с нами сегодня вечером?

Улыбка исчезла, и она поняла: он подбирает убедительные слова для отказа.

— Вы были так добры ко мне, — добавила она.

На открытом воздухе было очень холодно, и они оба стали прохаживаться; замерзшая грязь трещала под ее туфлями и пачкала ей чулки.

— Это доставило бы мне большое удовольствие, — сказал он, с предельной точностью подбирая слова, — и я скорблю, что не могу принять ваше приглашение. Сегодня вечером я выхожу в Белграде. Мне было бы так приятно... — Он остановился, нахмурился и, казалось, забыл, что хотел сказать; сунул перчатку с дырой на пальце в карман плаща. — Мне было бы так приятно...

Два человека в форме шли вдоль пути, направляясь к ним.

Доктор взял ее под руку и осторожно повернул назад; они пошли в обратную сторону вдоль поезда. Он все еще хмурился и так и не окончил начатую фразу. Вместо этого произнес другую:

— Извините, мои очки совсем запотели, что там перед нами?

— Несколько таможенников вышли из служебного вагона и направляются к нам.

— А больше никого? Они в зеленой форме?

— Нет, в серой.

Доктор остановился.

— Ах вот как! — Он взял ее руку в свою, сжал ее ладонью, и Корал почувствовала в руке конверт. — Быстро возвращайтесь в вагон. Спрячьте это. Когда будете в Стамбуле, отправьте по почте. Теперь идите. Быстро, но не подавайте вида, что торопитесь.

Корал послушалась, не понимая, в чем дело; пройдя шагов двадцать, она поравнялась с людьми в серых шинелях и поняла — это солдаты; винтовок не было видно, но по чехлам штыков она угадала, что солдаты вооружены. Они загородили ей дорогу, и она было подумала, не остановят ли ее; они взволнованно обсуждали что-то, но, когда она оказалась в нескольких шагах от них, один солдат отступил в сторону, чтобы дать ей пройти. Она немного успокоилась, но все же была слегка встревожена из-за письма, зажатого у нее в руке. Может, ее вынуждают провезти какую-нибудь контрабанду? Наркотики? Тут один из солдат пошел за ней; она слышала, как хрустит мерзлая грязь под его сапогами, и стала убеждать себя: все это выдумки, если бы она была ему нужна, он бы ее окликнул, и его молчание подбодрило ее. Но все-таки пошла быстрее. Их купе было в следующем вагоне, и ее возлюбленный сможет по-немецки объяснить этому солдату, кто она такая. Но Майетта в купе не было, он все еще курил в вагоне-ресторане. Секунду она колебалась: «Дойду до ресторана и постучу в окно», — однако оказалось, что нельзя было колебаться даже секунду. Какая-то рука дотронулась до ее локтя, и чей-то голос мягко произнес несколько слов на чужом языке.

Корал обернулась, собираясь протестовать, умолять, готовая, если нужно, вырваться и побежать к вагону-ресторану, но ее страх немного улегся, когда она поглядела в большие добрые глаза солдата. Он улыбнулся ей, кивнул и показал на станционные здания.

— Что вам нужно? Скажите по-английски.

Он покачал головой, опять улыбнулся и махнул рукой в сторону станционных строений. Она увидела, как доктор встретился с солдатами и вместе с ними идет туда. В этом могло и не быть ничего страшного, он шел впереди них, они вели его не под конвоем. Солдат кивнул, улыбнулся и с большим трудом выговорил три слова по-английски.

— Все совсем хороший, — произнес он и показал на строения.

— Можно мне только предупредить моего друга? — попросила она.

Он покачал головой, улыбнулся, взял ее под руку и осторожно повел прочь от поезда.

Зал ожидания был пуст, если не считать доктора. Посредине пылал огонь в печи. Вид из окна искажали узоры, нарисованные морозом. Корал все время помнила о зажатом у нее в руке письме. Солдат осторожно и предупредительно ввел ее в зал и прикрыл дверь, не заперев ее.

— Что им нужно? — спросила она. — Мне нельзя отстать от поезда.

— Не пугайтесь, — ответил доктор. — Я все им объясню, и они отпустят вас через пять минут. Если вас захотят обыскать, не сопротивляйтесь. Письмо у вас отобрали?

— Нет.

— Лучше отдайте его мне. Я не хочу вовлекать вас в неприятности.

Она протянула к нему руку, и как раз в этот момент дверь отворилась, вошел солдат, ободряюще улыбнулся ей и отобрал у нее письмо. Доктор Циннер обратился к нему, и солдат быстро ответил ему что-то; у него были простодушные и печальные глаза. Когда он снова ушел, доктор Циннер сказал:

— Ему самому это не по душе. Он получил приказ подсматривать за нами в замочную скважину.

Корал Маскер села на деревянную скамью и протянула ноги к печке.

— Вы совершенно спокойны.

— А какой смысл волноваться? Они все равно ничего не понимают. Мой друг скоро начнет разыскивать меня.

— Это верно, — с облегчением произнес он. И, помолчав немного, добавил: — Вы, наверное, удивляетесь, почему я не извиняюсь перед вами за доставленную вам неприятность... Видите ли, есть нечто такое, что я считал более важным, чем любая неприятность. Боюсь, вы меня не понимаете.

— Где уж мне? — сказала она с мрачным юмором, вспомнив о прошлой ночи. В морозном воздухе раздался долгий свисток, и она со страхом вскочила. — Это ведь не наш поезд? Мне никак нельзя отстать.

Доктор Циннер подошел к окну. Он очистил ладонью запотевшую внутреннюю поверхность стекла и посмотрел сквозь морозные узоры.

— Нет, это свистит паровоз на другом пути. Наверное, паровоз меняют. На это уйдет много времени. Не бойтесь.

— Ох, мне совсем не страшно, — сказала она, снова усаживаясь на жесткую скамью. — Мой друг скоро появится здесь. Тогда станет страшно им. Он ведь, знаете ли, богатый.

— Вот как?

— Да, и важный. Он глава фирмы. Они имеют дело с изюмом. — Она засмеялась. — Он просил меня вспоминать о нем, когда я буду есть пудинг с изюмом.

— Вот как?

— Да. Он мне нравится. Он такой милый со мной. Совсем не похож на других евреев. Они вообще-то добрые, но он... как бы вам сказать, он скромный.

— Должно быть, он очень удачливый человек.

Дверь отворилась, и два солдата втолкнули в зал какого-то мужчину. Доктор Циннер быстро прошел вперед, поставил ногу в проем двери и тихо заговорил с солдатами. Один из них что-то ответил, второй втолкнул его обратно в зал и запер дверь на ключ.

— Я спросил их, почему вас здесь задерживают. Объяснил, что вам надо успеть на поезд. Один из них ответил: все в полном порядке. Офицер хочет задать вам несколько вопросов. Поезд уходит не раньше чем через полчаса.

— Спасибо.

— А я? — с бешенством воскликнул вновь прибывший. — А я?

— О вас я ничего не знаю, герр Грюнлих.

— Эти таможенники, они пришли и обыскивают меня. Забирают мою пушку. Говорят: «Почему вы не заявили таможене, что у вас пушка?» Я говорю: «Никто не станет путешествовать по вашей стране без пушки».

Корал Маскер засмеялась; Йозеф Грюнлих злобно посмотрел на нее, потом одернул мятый жилет, взглянул на часы и сел. Положив руки на толстые колени, он стал смотреть прямо перед собой, размышляя.

«Он, должно быть, теперь уже докурил свою сигарету, — думала Корал. — Вернулся в купе и обнаружил, что меня там нет. Наверное, подождал минут десять, а потом спросил кого-нибудь из солдат на станции, не знает ли тот, где я. Через несколько минут он меня уже найдет». Ее сердце подпрыгнуло, когда ключ повернулся в замке, она была поражена, что он так быстро напал на ее след, — но в зал вошел не Майетт, а суетливый светловолосый офицер. Он отдал через плечо какой-то приказ — двое солдат вошли вслед за ним и встали у двери.

— Но в чем же дело? — спросила Корал у доктора Циннера. — Они думают, мы везем контрабанду?

Она не понимала, о чем эти иностранцы говорят между собой, и вдруг ей стало страшно, она растерялась, осознав, что даже если бы эти люди и хотели помочь ей, они не понимают ее, не знают, чего она хочет.

— Скажите им, что мне нужно уехать этим поездом. Попросите их сообщить моему другу, — сказала она доктору Циннеру.

Не слушая ее, он неподвижно стоял у печки, засунув руки в карманы, и отвечал на вопросы офицера. Она повернулась к немцу, который, сидя в углу, уставился на носки своих башмаков.

— Скажите им, я ничего не сделала, пожалуйста.

Тот на мгновение поднял глаза и с ненавистью посмотрел на нее.

Наконец доктор Циннер сказал ей:

— Я пытался объяснить им, что вы ничего не знаете о той записке, которую я передал вам, но он говорит, что должен еще ненадолго задержать вас, пока начальник полиции вас не допросит.

— Ну а поезд? — умоляюще спросила она. — А как же поезд?

— Полагаю, все будет в порядке. Поезд простоит здесь еще полчаса. Я просил его сообщить

вашему другу, и он обещает подумать об этом.

Она подошла к офицеру и дотронулась до его руки.

— Я должна уехать этим поездом. Должна. Поймите меня, пожалуйста.

Он стряхнул ее руку и начал отчитывать ее резким, повелительным тоном, причем пенсне кивало в такт его речи, но в чем именно он упрекал ее, она не поняла. Потом офицер вышел из зала ожидания.

Корал прильнула лицом к стеклу. Сквозь просветы в морозных узорах было видно, как вдоль пути взад и вперед ходит немец; она попыталась разглядеть вагон-ресторан.

— Он появился? — спросил доктор Циннер.

— Сейчас снова пойдет снег, — сказала она и отошла от окна. Ей вдруг стало невыносимо ее нелепое положение. — Что от меня хотят? Зачем держат меня здесь?

— Это какая-то ошибка. Они напуганы. В Белграде было восстание, — постарался успокоить ее доктор. — Им нужен я, вот в чем дело.

— Но почему? Вы ведь англичанин?

— Нет. Я здешний, — сказал он с оттенком горечи.

— А что вы наделали?

— Я попытался изменить порядки, — объяснил доктор, давая понять, как он не любит ярлыков. — Я коммунист.

— Но зачем? Зачем? — воскликнула она, со страхом глядя на доктора, не в силах скрыть, насколько пошатнулось ее доверие к тому единственному человеку, который, кроме Майетта, мог и хотел ей помочь. Даже его доброе отношение к ней в поезде казалось ей теперь подозрительным. Она подошла к скамейке и села как можно дальше от немца.

— Чтобы объяснить вам зачем, потребовалось бы много времени.

Она не слушала его, не желала понимать значения ни одного из произносимых им слов. Теперь она считала его одним из тех оборванцев, что устраивают манифестации в субботние дни на Трафальгарской площади, ходят с мерзкими плакатами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Старые соратники Уолтгемстоу», «Бэлемское отделение лиги молодых рабочих». Эти зануды хотят повесить всех богачей, закрыть театры и заставить ее заниматься отвратительной свободной любовью в летнем лагере, а потом шагать на демонстрации по Оксфорд-стрит с ребенком на руках под знаменем с надписью: «Британские работницы».

— Больше времени, чем я располагаю, — добавил он.

Корал не обратила внимания на его слова. В тот момент она ставила себя неизмеримо выше его. Она была возлюбленной богача, а он — трудящимся. Когда она наконец вспомнила о нем, то сказала с неподдельным презрением:

— Думаю, вас посадят в тюрьму.

— Полагаю, меня расстреляют.

Она изумленно поглядела на него, забыв, что у них разные убеждения:

— Почему?

Он улыбнулся чуть-чуть самодовольно:

— Они боятся.

— В Англии красным позволяют говорить сколько им угодно. И полиция стоит вокруг.

— Ну, тут есть разница. Мы не ограничиваемся речами.

— Но ведь будет суд?

— Что-то вроде суда. Меня повезут в Белград.

Где-то прозвучал рожок, и свисток пронизал морозный воздух.

— Должно быть, маневрируют, — сказал доктор Циннер, пытаясь успокоить ее.

Полоса дыма протянулась снаружи мимо окон, и в зале ожидания стало темно; послышались голоса, люди побежали вдоль железнодорожного пути. Буфера между вагонами заворчали, столкнулись, напряглись, и тогда тонкие стены затряслись от движения поршней, от стука тяжелых колес. Когда дым рассеялся, Корал Маскер тихо села на деревянную скамью. Сказать было нечего, и ноги у нее были холодные как лед. Но немного погодя она почувствовала в молчании доктора Циннера осуждение.

— Он вернется за мной. Вот увидите, — произнесла она с теплотой в голосе.

Нинич сунул ружье под мышку и стал хлопать руками в перчатках.

— От этого нового паровоза много шума, — сказал он, глядя, как поезд вытянулся, словно резина, описал дугу и исчез.

Стрелки застонали и вернулись на прежнее место; на встречном пути поднялся семафор. Из будки вышел человек, спустился по ступенькам, пересек линию и исчез из виду, направляясь к небольшому домику.

— Пошел обедать, — с завистью сказал напарник Нинича.

— За все время, пока я здесь, никогда не бывало, чтобы паровоз так шумел, — заметил Нинич.

Тут он услышал слова напарника:

— Майору понесли горячий обед из казармы.

Но Нинич не сообщил ему о приезде из Белграда начальника полиции — он приберег эту новость для жены.

— Ты счастливеец. Я часто думаю, как славно иметь настоящий обед. Думаю, вот хорошо бы и мне жениться, когда вижу, как твоя жена приходит сюда по утрам.

— Не так уж плохо, — сдержанно согласился Нинич.

— Скажи, что она тебе приносит?

— Буханку хлеба и кусок колбасы. Иногда немного масла. Она хорошая девочка.

Но на душе у него было не так уж спокойно. «Я недостаточно хорош для нее; мне хотелось бы

быть богатым, подарить ей платье и бусы и свести ее в театр в Белграде». Сначала он с завистью подумал о девушке-иностранке, запертой в зале ожидания, об ее одежде, показавшейся ему очень дорогой, и о ее зеленых бусах, но, сравнив девушку со своей женой, он скоро перестал завидовать, а проникся добрым чувством к иностранке. Похлопывая своими большими неуклюжими руками, он с восхищением думал о красоте и хрупкости женщин.

— Проснись, — прошептал напарник, и оба солдата выпрямились и встали неподвижно по стойке «смирно» в то время, как с дороги к станции повернула машина, ломая ледяную корку на земле и разбрасывая брызги.

— Кого это черт несет? — прошептал напарник Нинича, едва шевеля губами, но Нинич с гордостью думал «Я-то знаю, я знаю, что высокий с орденскими колодками офицер — начальник полиции», ему даже известна фамилия другого офицера, который, словно резиновый мяч, выпрыгнул из машины и держал дверцу открытой, пока полковник Хартеп не вылез из нее.

— Ну и местечко, — весело сказал полковник Хартеп, но тут же с неодобрением поглядел сначала на грязь, а потом на свои начищенные сапоги.

Капитан Алексич надул круглые красные щеки.

— Надо было им хоть доски положить.

— Ну что вы, мы же полиция. Нас не любят. Бог знает, какой завтрак нам подадут. Ну-ка, солдат, — он указал пальцем на Нинича, — помоги шоферу выгрузить эти коробки. Постарайся, чтобы вино не взбалтывалось и бутылки стояли прямо.

— Майор Петкович, господин полковник...

— Не обращайтесь внимания на майора Петковича.

— Простите, — произнес резкий, недовольный голос майора, стоявшего за Ниничем.

— Разумеется, майор, — полковник Хартеп улыбнулся и поклонился, — но я уверен, прощать вас совершенно не за что.

— Этот солдат караулит арестованных.

— Значит, вы задержали их несколько. Поздравляю.

— Двоих мужчин и девушку.

— В таком случае, я полагаю, хороший замок, часовой, штык, винтовка и двадцать обойм патронов разрешат все проблемы.

Майор Петкович облизал губы.

— Полиции, конечно, лучше знать, как охранять тюрьму. Я пасую перед знатоком. Выгружайте все из машины, — приказал он Ниничу, — и отнесите ко мне в кабинет.

Он повел офицеров за угол зала ожидания и скрылся из виду. Нинич глядел им вслед, пока шофер не крикнул ему:

— Не могу я сидеть в машине и ждать целый день. Пошевеливайся! Вы, солдаты, совсем не привыкли работать.

Он начал выгружать ящики из машины, перечисляя все, что там было.

— Пол-ящика шампанского. Холодная утка. Фрукты. Две бутылки коньяку. Колбаса. Печенье к вину. Зеленый салат. Оливки.

— Вот здорово, — вскричал напарник Нинича, — еда неплохая!

Какой-то миг онемевший Нинич стоял уставившись на все это. Потом тихо сказал

— Настоящий пир.

Он уже отнес коньяк, шампанское и утку в кабинет майора, когда увидел свою жену. Та шла по дороге и несла его собственный обед, завернутый в белую холстину. Она была маленькая, темноволосая, с лукавым, веселым личиком, плечи плотно закутаны в шаль, на ногах большие сапоги. Нинич поставил ящик с фруктами и пошел ей навстречу.

— Я задержусь ненадолго, — сказал он тихо, так, чтобы не услышал шофер. — Подожди меня. Я должен что-то тебе рассказать. — И с серьезным видом вернулся к своему делу.

Жена села на обочину дороги, наблюдая за ним, но, когда он вышел из кабинета майора, где стол был раздвинут и офицеры пили перед завтраком вино, она уже ушла, оставив обед на обочине.

— Где моя жена? — спросил он второго охранника.

— Поговорила с шофером и потом пошла обратно в бараки. Вроде была чем-то взволнована.

Нинича охватило чувство разочарования — Он предвкушал, как будет рассказывать жене, зачем приехал полковник Хартеп, а теперь шофер опередил его. Вот так всегда. Жизнь солдата — собачья жизнь. Эти штатские получают большое жалованье, обыгрывают солдат в карты, плохо с ними обращаются и даже суются между солдатом и его женой. Но его возмущение длилось недолго. Он сможет рассказать и о других секретах, стоит только наострить уши и не зевать. Он подождал немного, а потом отнес последнюю коробку в кабинет майора. Шампанское лилось рекой; все трое говорили одновременно, пенсне майора Петковича упало ему на колени.

— Такие грудки, такие бедра, — говорил капитан Алексич. — Я сказал его превосходительству. — будь я на вашем месте...

Майор Петкович, окунув палец в вино, чертил какие-то линии на скатерти.

— Первое правило: никогда не бей по флангам. Поражай центр.

Полковник Хартеп был совершенно трезв. Он курил, откинувшись на спинку стула.

— Возьмите чуть-чуть французской горчицы, две веточки петрушки...

Но младшие офицеры не обращали на него никакого внимания. Он слегка улыбнулся и наполнил их бокалы.

Снова шел снег, и поверх нанесенных ветром сугробов доктор Циннер наблюдал, как обуреваемые любопытством крестьяне из Суботицы с трудом пробирались через железнодорожные пути и направлялись к залу ожидания. Один из них подошел так близко к окну, что мог заглянуть в зал и рассмотреть лицо доктора. Их разделяло расстояние в несколько футов, оконное стекло, разрисованное инеем, и пар от дыхания. Доктор Циннер мог бы сосчитать морщины на лице крестьянина, назвать цвет его глаз и рассмотреть с

мелькнувшим у него профессиональным интересом какую-то болячку на щеке. Оба солдата все время отгоняли крестьян прикладами винтовок. Крестьяне отступали к путям, но потом снова прорывались назад, безнадежно упрямые и бестолковые.

В зале очень долгое время царил молчание. Доктор Циннер вернулся к печке. Девушка сидела сжав руки и немного склонив голову. Доктор знал, что она делала: она молилась о том, чтобы ее возлюбленный поскорее вернулся за ней, и по тому, как Корал старалась скрыть это, доктор угадал, что она не привыкла молиться. Она была очень напугана, и он с холодным сочувствием понял, как сильно она боится. Опыт подсказывал ему две вещи: молитвы остаются без ответа, а такой случайный возлюбленный и не подумает вернуться за ней.

Доктор Циннер сожалел, что втянул ее в это дело, но только так, как мог бы сожалеть о необходимости лгать. Он всегда признавал необходимость пожертвовать своей личной чистотой; только партия, стоящая у власти, обладает правом на угрызения совести; если бы они у него были, он тем самым признал бы, что сомневается в чрезвычайной важности своего дела. Но такие размышления огорчали его, и вот почему: он понял, что завидует добродетельным людям, каким он мог бы стать сам, если бы был богаче и могущественнее. Он с радостью стал бы щедрым, милосердным, точно следовал бы законам чести, если бы его деятельность увенчалась успехом, если бы мир можно было перекроить по тому образцу, о котором он мечтал и к которому жадно стремился.

— Вы счастливая, если верите, что это поможет, — сердито сказал он.

Но, к своему удивлению, он обнаружил, что Корал, сама того не подозревая, могла развеять его горечь, основанную на старательно разработанных, но ошибочных положениях.

— Я не верю, — ответила она, — но нужно же что-нибудь делать.

Его поразило, как быстро она отреклась от веры, и сделала это не из-за того, что с трудом овладела произведениями писателей-рационалистов и ученых девятнадцатого века; она была рождена для безверия так же непреложно, как он для веры. Когда-то он пожертвовал всеми устоями, лишь бы оказаться таким же неверующим, и на мгновение ему захотелось посеять в ней слабые ростки сомнений, той полуверы, которая заставила бы ее не полагаться на свои суждения. Но это желание быстро прошло, и он попытался подбодрить ее:

— Ваш друг вернется за вами из Белграда.

— А может, у него не будет времени.

— Тогда он телеграфирует британскому консулу.

— Конечно, — произнесла она с сомнением.

События минувшей ночи, воспоминание о нежности Майетта ушли из ее памяти, словно освещенный мол вдруг погрузился во тьму. Она попыталась вспомнить его образ, но тщетно: он пропал, словно растворился в толпе провожающих. Незадолго до этого она начала размышлять, чем он отличается от всех знакомых ей евреев. Даже ее тело, отдохнувшее и исцеленное, но потерявшее вместе с болью свой таинственный покой, ясно ощущало, что разницы нет. Она повторила: «Конечно», потому что стыдилась своего неверия. И уж, во всяком случае, роптать бесполезно, — она ведь не в худшем положении, чем другие, разве что опоздает на день в варьете. «Таких хоть пруд пруди», — думала она, чувствуя, однако, что ей все-таки дороги эти совсем не безоблачные воспоминания.

Немец спал в углу, сидя совершенно прямо; веки его вздрагивали, готовые раскрыться при малейшем постороннем звуке. Он привык отдыхать в неподходящих местах и пользоваться

всякой передышкой. Когда открылась дверь, его глаза сразу насторожились.

Вошел охранник, махнул им рукой и что-то крикнул. Доктор Циннер повторил его слова по-английски:

— Нам приказано выходить.

В открытую дверь надуло снега, и на пороге образовался серый бугор. Им были видны крестьяне, столпившиеся у путей. Йозеф Грюнлих встал, одернул пиджак и толкнул доктора Циннера локтем в бок:

— А не сбежать ли нам сейчас, всем вместе, пока валит снег?

— Они станут стрелять.

Охранник снова крикнул что-то и махнул рукой.

— Но ведь они и так станут стрелять, а? Зачем нас ведут наружу?

Доктор Циннер повернулся к Корал Маскер:

— Думаю, опасаться нам нечего. Вы идете?

— Конечно. — Потом она попросила умоляюще: — Подождите меня минутку, я потеряла носовой платок.

Высокая тонкая фигура согнулась, словно серый циркуль, опустилась на колени и вытащила платок из-под скамьи. Его неловкость вызвала у нее улыбку, и, забыв о своих подозрениях, она поблагодарила его с преувеличенной пылкостью. Выйдя из зала, он зашагал наклонив голову, пряча лицо от снега и улыбаясь своим мыслям. Один из охранников шел впереди, а второй вслед за ними, с винтовкой наперевес, с примкнутым штыком. Они переговаривались через головы арестованных на языке, ей непонятном, и вели ее неизвестно куда. Крестьяне карабкались на откос, шлепали по грязи, шагая через рельсы: они подходили ближе, сгорая от желания поглядеть на арестованных, и она немного боялась их смуглых лиц и того неведомого, что происходило.

— Почему вы улыбаетесь? — спросила она доктора Циннера, надеясь услышать, что он нашел способ освободить их всех, догнать поезд, повернуть обратно стрелки часов.

— Сам не знаю. Разве я улыбался? Возможно, потому, что я снова дома.

На мгновение губы его сомкнулись, но потом опять растянулись в легкой улыбке, а глаза, оглядывающие все вокруг сквозь запотевшие стекла очков, казались влажными, и в них не отражалось ничего, кроме какого-то неразумного ощущения счастья.

III

Майетт глядел, как пепел его сигары становился все длиннее, и размышлял. Он обожал те минуты, когда, оставшись наедине с собой и не боясь резкого отпора ни с чьей стороны, чувствуешь, что тело получило удовлетворение, а страсти утихли. Прошлой ночью он напрасно пытался работать: между цифрами все время виделось лицо девушки, — теперь она заняла подобающее ей место. С наступлением вечера она опять была желанна и собиралась прийти к нему — при этой мысли он почувствовал нежность и даже

благодарность уже из-за того, что, уйдя, она не оставила за собой неприятного следа. Теперь, даже не глядя в свои бумаги, он помнил цифры, которые прежде не мог расположить в правильном порядке. Он умножал, делил, вычитал, и длинные колонки чисел сами собой возникали на оконном стекле, за которым незаметно проходили призрачные фигуры таможенников и носильщиков. Затем кто-то попросил его показать паспорт; тут пепел осыпался с его сигары, и он вернулся в купе предъявить свой багаж. Корал там не было, и он подумал, что она в уборной. Таможенник похлопал по ее саквою:

— А это?

— Саквояж не заперт. Дама вышла. Но здесь смотреть нечего.

Оставшись снова один, он прилег в углу и закрыл глаза — так ему легче было обдумывать дела Экмана, — но когда поезд отошел от Суботицы, он заснул. Ему снилось, что он взбирается по лестнице в контору Экмана. Узкая, не покрытая ковром, не освещенная, она могла бы вести в пользующуюся дурной славой квартиру близ Лейстер-сквер, а не в штаб крупнейших в Европе импортеров изюма. Он не помнил, как прошел через дверь, в следующий момент он уже сидел лицом к лицу с Экманом. Между ними лежала огромная куча бумаг, а Экман поглаживал свои темные усы и стучал по столу вечным пером, в то время как паук опутывал паутиной пустую чернильницу. В конторе горел тусклый электрический свет, в углу на металлическом диване сидела миссис Экман и вязала детскую кофточку.

«Я признаю все, — сказал Экман. Вдруг его стул поднялся вверх, он оказался высоко над головой Майетта и застучал аукционным молотком. — Отвечайте на мои вопросы: вы присягали. Не увиливайте. Отвечайте: да или нет. Вы соблазнили девушку?»

«В некотором роде».

Экман выдернул лист бумаги из середины кучи, вы тащил еще и еще, пока куча бумаг не закачалась и не упала на пол с таким грохотом, словно посыпались кирпичи.

«Вот дело рук Джервиса. Хитрая работа, скажу я вам. Вы уже заключили контракт с членами правления, но все оттягиваете, не желая подписать его».

«Все было по закону».

«А эти десять тысяч фунтов Ставрогу, когда у нас уже было предложение на пятнадцать тысяч?»

«Это деловая операция».

«А девушка со Спаниердз-роуд? А тысяча фунтов служащему Моулта за информацию?»

«Чем же я хуже вас? Отвечайте быстро. Не увиливайте. Говорите: да или нет. Милорд и господа присяжные, преступник на скамье подсудимых...»

«Я хочу высказаться. У меня есть что сказать. Я невиновен».

«По какой статье? Какого кодекса? По праву Справедливости? По Закону Церковной Десятины? Адмиралтейского или Королевского суда? Отвечайте мне быстро. Не увиливайте. Говорите: да или нет. Три удара молотком. Продано. Продано. Это прекрасное процветающее дело, джентльмены».

«Подождите минутку. Я скажу вам. Король Георг. Год III, абзац 4, Виктория 2504. И среди мошенников есть честные люди».

Экман, вдруг став совсем маленьким в этой жалкой конторе, зарыдал, ломая руки. И все

прачки, которые топтались в ручье глубиной по колени, подняли головы и зарыдали, а в это время сухой ветер сметал песок с морских пляжей, с шумом гнал его на лиственный лес, и голос, скорее всего голос Экмана, умолял его снова и снова: «Вернись». Потом пустыня заколебалась у него под ногами, и он открыл глаза. Поезд стоял. Снег залеплял оконные стекла. Корал не вернулась.

Вдруг кто-то в хвосте поезда начал хохотать и глумиться над кем-то. К нему присоединились другие, они свистели и бранились. Майетт посмотрел на часы. Он проспал больше двух часов и, вероятно вспомнив голос, который слышал во сне, забеспокоился из-за отсутствия Корал. Из паровозной трубы шел дым, и человек в спецовке с испачканным сажей лицом стоял в стороне от паровоза, безнадежно глядя на него. Несколько пассажиров третьего класса окликнули его, он повернулся, покачал головой, пожал плечами — вид у него был дружелюбный, но растерянный. Начальник поезда быстро шел вдоль пути, удаляясь от паровоза. Майетт остановил его:

— Что случилось?

— Ничего. Ничего особенного. Маленькая неисправность.

— Мы надолго застряли здесь?

— Сущие пустяки. На час, возможно, на полтора. Мы вызываем по телефону другой паровоз.

Майетт закрыл окно и вышел в коридор. Корал не было видно. Он прошел вдоль всего поезда, заглядывая в купе, пытаясь открыть двери уборных, пока не дошел до вагонов третьего класса. Тут он вспомнил о человеке со скрипкой и долго искал его в вонючих купе с жесткими деревянными скамьями, но наконец нашел — это был маленький невзрачный человек с воспаленным глазом.

— Сегодня вечером я устраиваю ужин, — сказал ему Майетт по-немецки, — и хочу, чтобы вы поиграли для меня. Я уплачу вам пятьдесят пара.

— Семьдесят пять, ваше превосходительство.

Майетт торопился, ему хотелось поскорей найти Корал.

— Ну хорошо, семьдесят пять.

— Что-нибудь грустное, меланхолическое, трогательное до слез, ваше превосходительство?

— Конечно нет. Я хочу что-нибудь радостное, веселое.

— Ах вот как? Это будет дороже.

— Что вы имеете в виду? Почему дороже?

— Его превосходительство, конечно, иностранец. Он не понимает. Такой обычай в нашей стране: брать за веселые песни дороже, чем за печальные. О, это древний обычай. Полтора динара?

И вдруг, несмотря на нетерпение и тоску, Майеттом овладело радостное желание поторговаться. Деньги здесь ничего не значили, речь шла о сумме меньшей, чем полкроны, но это было деловое соглашение, и он не собирался уступать.

— Семьдесят пять пара. Ни пары больше.

Скрипач приветливо улыбнулся: иностранец пришелся ему по сердцу.

— Динар тридцать пара. Это мое последнее слово, ваше превосходительство. Я бы унизил свою профессию, если бы взял меньше.

Запах черствого хлеба и прокисшего вина уже не раздражал Майетта: так пахло на рынке его предков. Это была подлинная поэма деловых отношений, выигрыш или проигрыш тут вряд ли имели значение, — ведь шла борьба за пары, а каждая из них стоила меньше четверти пенса. Майетт переступил порог купе, но не сел.

— Восемьдесят пара.

— Ваше превосходительство, каждому человеку нужно ведь жить. Один динар двадцать пять. Я постыдился бы взять меньше.

Майетт предложил скрипачу сигарету.

— Стаканчик ракии, ваше превосходительство.

Майетт кивнул и, не брезгуя, взял толстый стакан с отбитым краем.

— Восемьдесят пять пара. Хотите — соглашайтесь, хотите — нет.

Они пили и курили вместе, прекрасно понимая друг друга, и торговались все яростнее.

— Вы оскорбляете меня, ваше превосходительство. Я же музыкант.

— Восемьдесят семь пара — это мое последнее слово.

Трое офицеров сидели за столом; рюмки были уже убраны. Два солдата с винтовками с примкнутыми штыками стояли у двери. Доктор Циннер с любопытством наблюдал за полковником Хартепом: в последний раз он видел его на суде над Камнецом, когда он, не считаясь с правосудием, ловко направлял своих лжесвидетелей. Это было пять лет назад, однако годы мало изменили его внешность. Волосы красиво серебрились у него на висках, только в углу глаз появилось несколько добродушных морщинок.

— Майор Петкович, — сказал он, — прочтите, пожалуйста, обвинительное заключение этим арестованным. Предложите даме стул.

Доктор Циннер вынул руки из карманов плаща и протер очки. Он смог заставить свой голос звучать твердо, но не мог удержать легкого дрожания рук.

— Обвинительное заключение? — спросил он. — Что вы имеете в виду? Разве это суд?

Майор Петкович, держа бумагу в руке, оборвал его:

— Замолчите!

— Это разумный вопрос, майор, — сказал полковник Хартеп. — Доктор был за границей. Видите ли, — продолжал он мягко и весьма благожелательно, — мы должны были принять меры для обеспечения вашей безопасности. В Белграде ваша жизнь была бы в опасности. Народ настроен против восстания.

— Я все же не понимаю, какое право вы имеете обходиться без предварительного следствия.

— Это военный трибунал. Военное положение было объявлено вчера рано утром, — объяснил полковник Хартеп. — Майор Петкович, начинайте.

Майор Петкович принялся читать длинный, написанный от руки документ, многие места ему трудно было разобрать.

— «Арестованный Ричард Циннер... заговор против правительства... избежал наказания за лжесвидетельство... фальшивый паспорт. Арестованный Йозеф Грюнлих обвиняется в ношении оружия. Арестованная Корал Маскер обвиняется в сообщничестве с Ричардом Циннером в заговоре против правительства». — Он положил бумагу на стол и сказал полковнику Хартепу. — Я не уверен в законности состава этого суда. Арестованные должны иметь защитника.

— Ох и вправду, это, конечно, оплошность. Может быть, вы, майор?...

— Нет. Суд должен состоять по меньшей мере из трех офицеров.

— Не беспокойтесь. Я обойдусь и без защитника, — прервал его доктор Циннер, — эти двое не понимают ни слова из того, что вы говорите. Они не будут протестовать.

— Это не по правилам, — сказал майор Петкович.

Начальник полиции посмотрел на часы.

— Я учел ваш протест, майор. Теперь мы можем начинать.

Толстый офицер икнул, поднес руку ко рту и подмигнул Хартепу.

— Девяносто пара.

— Один динар.

Майетт загасил сигарету. Он уже наигрался в эту игру.

— Ну хорошо. Один динар. Сегодня в девять вечера.

Он быстро вернулся в свое купе, но Корал там не было. Пассажиры выходили из поезда, разговаривая, смеясь и потягиваясь. Машиниста окружила небольшая толпа, и он с юмором объяснял причину аварии. Хотя вокруг не видно было ни одного дома, несколько крестьян уже появились около поезда, они продавали бутылки с минеральной водой и леденцы на палочках. Шоссе проходило параллельно железнодорожному пути, их отделяла лишь гряда снежных сугробов; шофер какого-то автомобиля гудел клаксоном и громко кричал:

— Быстро домчим до Белграда! Сто двадцать динаров. Быстро домчим до Белграда!

Это была неслыханная цена, и только один толстый коммерсант отозвался на предложение шофера. У шоссе начался долгий торг. «Минеральные воды! Минеральные воды!» Немец с коротко остриженной головой вышагивал взад и вперед, сердито разговаривая сам с собой. Майетт услышал у себя за спиной какой-то голос, произнесший по-английски:

— Снова снег пойдет.

Он обернулся в надежде, что это Корал, но то была женщина, которую он видел в вагоне-ресторане.

— Не очень-то весело будет застрять здесь, — сказал он. — Может пройти несколько часов, пока пришлют другой паровоз. Что, если вместе поехать на машине до Белграда?

— Это что, приглашение?

— В складчину, — поспешил добавить Майетт.

— Но у меня нет ни гроша.

Она обернулась и помахала рукой:

— Мистер Сейвори, идите сюда, можно нанять в складчину машину. Вы ведь заплатите мою долю?

Сейвори локтями протолкался сквозь толпу пассажиров, окружавших машиниста.

— Не могу понять, о чем говорит этот парень. Что-то насчет котла, — сказал он. — Поехать вместе на машине? — продолжал Сейвори уже медленнее. — Наверно, это будет стоить довольно дорого?

Он внимательно посмотрел на женщину, словно ждал от нее ответа на свой вопрос. «Он, конечно, прикидывает, какую пользу извлечет из этого для себя», — подумал Майетт. Колебания Сейвори, выжидающее молчание женщины подстегнули в нем инстинкт соперничества. Ему захотелось развернуть перед ней ореол богатства, как павлин разворачивает хвост, и ослепить ее великолепием своих сокровищ.

— Шестьдесят динаров — с вас двоих.

— Я только схожу и поговорю с начальником поезда, может, он знает, как долго...

Пошел снег.

— Если вы пожелаете составить мне компанию, мисс...

— Меня зовут Джанет Пардоу, — сказала она и подняла воротник шубки до самых ушей. Ее щеки пылали, разбурянные падающим на них снегом; Майетт мог представить себе очертания ее окутанного мехом тела и сравнить ее с худенькой обнаженной Корал. «Мне придется взять и Корал с собой», — подумал он.

— Вы не видели девушку в плаще, тоненькую, поменьше вас ростом?

— Да, да, она вышла из поезда в Суботице. Я знаю, кого вы имеете в виду. Вы ужинали с ней вчера вечером, — Она улыбнулась ему. — Это ведь ваша любовница?

— Она вышла с саквояжем?

— О нет. У нее с собой ничего не было. Я видела, как она прошла с таможенником на станцию. А она забавная крошка, правда? Из варьете? — спросила Джанет вежливо, но довольно равнодушно; по ее тону Майетт догадался — она осуждает не девушку, а его самого за то, что он тратит деньги на нечто несуществующее.

Это рассердило его, словно она критиковала качество его изюма; была брошена тень на его пронизательность и благоразумие. «В конце концов, я истратил на нее не больше, чем истратил бы на вас, если бы взял вас с собой в Белград, — подумал он, — а заплатили бы вы мне подобным образом и с такою же готовностью, как она?» Но их несхожесть разбудила в нем желание и горечь, ибо эта девушка была сверкающим предметом из серебра, тогда как Корал — в лучшем случае привлекательным кусочком цветного стекла; Корал пробуждала чисто сентиментальные чувства, в Джанет же привлекала внутренняя ценность. «Она из тех, кому нужны не только деньги, но и красивое тело, которое удовлетворяло бы ее сладострастие, ум, образованность. Я еврей, и меня учили лишь тому, как делать деньги». Но тем не менее ее осуждение сердило его и облегчало отказ от недостижимого.

— Она, наверное, отстала от поезда. Мне надо вернуться за ней.

Он не извинился за нарушенное обещание и быстро ретировался, благо это было пока еще легко.

Коммерсант все еще торговался с шофером. Тот снизил сумму до ста динаров, а сам он поднял ее до девяноста. Майетту было совестно вмешиваться в их сделку, он понимал: оба они должны были презирать его за то, что он спешит и ведет себя не так, как подобает Дельцу.

— Я дам вам сто двадцать динаров, если вы свезете меня в Суботицу и обратно. — Когда он увидел, что шофер намерен продолжать торговаться, он повысил цену:

— Сто пятьдесят динаров, если вы доставите меня туда и обратно до отхода этого поезда.

Машина была старая, побитая, но очень мощная. Они ехали против ветра со скоростью шестьдесят миль в час по дороге, которая не ремонтировалась целую вечность. Пружины сиденья были сломаны, и Майетта швыряло из стороны в сторону, когда машина проваливалась в ямы, вылезала из них, кренилась набок. Она ворчала и задыхалась, как человек, доведенный до изнеможения безжалостным хозяином. Снег пошел сильнее; телеграфные столбы вдоль железнодорожного пути мелькали, словно темные провалы в белой стене снега. Майетт наклонился к шоферу и крикнул по-немецки, перекрывая рев древней машины:

— Вы что, слепой?

Вдруг машину резко занесло и бросило поперек шоссе, а шофер крикнул ему в ответ, что бояться нечего, на дороге пусто, но он не сказал, что ему все хорошо видно.

Тем временем ветер усилился. Шоссе, скрытое от них стеной снегопада, теперь то вздымалось перед ними, то снова уходило вниз, подобно волне с пеной из колкого снега. Майетт кричал шоферу, чтобы тот ехал тише. «Если сейчас спустит колесо, нам обоим конец», — подумал он. Он видел, как шофер посмотрел на часы и нажал ногой на акселератор; старый автомобиль ответил ему, прибавив еще несколько миль в час, подобно тем сильным упрямым старикам, о которых говорят: «Это уже последние; такую породу мы теперь больше не выводим». Майетт снова закричал: «Тише!» — но шофер указал на свои часы и довел громящую машину до опасного, сверхъестественного предела скорости. Для этого человека тридцать динаров, разница между тем, поспеют ли они или упустят поезд, означали несколько месяцев обеспеченного существования; он рисковал бы своей жизнью и жизнью своего пассажира и за гораздо меньшую сумму. Вдруг, когда ветер подхватил снег и отбросил его в сторону, в просвете, на расстоянии десяти метров, прямо перед ними появилась повозка. Майетт едва успел заметить одуревшие глаза быков, рассчитать, в каком месте их рога разобьют лобовое стекло, как пожилой человек вскрикнул, бросил кнут и спрыгнул с телеги. Шофер круто повернул руль, машина перепрыгнула через снежный вал, покатила как безумная на двух колесах, в то время как два других с шумом вращались в порывах ветра над землей; машина наклонялась все больше и больше, пока Майетту не показалось, что земля вздыбилась, как кипящее молоко, затем автомобиль перемахнул через сугроб, сначала два колеса коснулись земли, потом все четыре, и машина понеслась по шоссе со скоростью шестьдесят пять миль в час, а снег сомкнулся за ними, укрыв быков, повозку и пораженного старика, застывшего от ужаса.

— Поезжайте тише, — задыхаясь, произнес Майетт, но шофер обернулся, улыбнулся ему и бесстрашно помахал рукой.

Офицеры сидели за столом, охранники стояли у двери, а доктор отвечал на вопросы, которые ему беспрерывно задавали. Корал Маскер заснула. Эта ночь утомила ее, она не понимала ни слова из того, что говорилось, не знала, почему она здесь, была напугана и стала приходить в отчаяние. Сначала она видела себя во сне ребенком, и все было очень просто и очень надежно, все было объяснимо и целомудренно. А потом ей снилось, что она очень старая и оглядывается на свою жизнь, ей ведомо все, она знает, что правильно и что неправильно и почему случается то или другое, и опять все было очень просто и подчинялось законам нравственности. Но этот второй сон не был похож на первый: она уже почти проснулась и принуждала сон показывать то, что ей хочется, и все это происходило на фоне доносившегося до нее разговора. В этом сне, защищенная старостью, она начала вспоминать о событиях прошлой ночи и дня, о том, как все сложилось к лучшему и Майетт приехал за ней из Белграда.

Доктору Циннеру тоже разрешили сесть на стул. По выражению лица толстого офицера он понял, что с ложным обвинением было почти покончено, — толстяк перестал обращать внимание на допрос, он кивал головой, икал и снова кивал. Полковник Хартеп продолжал соблюдать видимость правосудия по природной доброжелательности. Его не мучили угрызения совести, но он не хотел причинять подсудимому излишнего страдания. Будь это возможно, он до конца оставил бы доктору Циннеру какую-то крупницу надежды. Майор Петкович беспрестанно выступал с возражениями, он знал, так же как и каждый из них, какой будет приговор суда, но решил придать ему хотя бы видимость законности, чтобы все было проведено согласно правилам, содержащимся в руководстве 1929 года.

Сидя спокойно, сжав руки, положив поношенную мягкую шляпу на пол у своих ног, доктор Циннер вел с офицерами безнадежную борьбу. Единственным решением, на которое он мог надеяться, было признание необъективности этого суда; его же собирались потихоньку зарыть в землю на пограничной станции, когда стемнеет, и никому ничего не станет известно.

— За лжесвидетельство меня не судили. Это не входит в компетенцию военного трибунала, — сказал он.

— Вас судили в ваше отсутствие, — возразил полковник Хартеп, — и приговорили к пяти годам заключения.

— Полагаю, вы найдете нужным передать меня гражданскому суду для вынесения мне приговора.

— Он совершенно прав, — вмешался майор Петкович. — Такие преступления не в нашей компетенции. Если вы посмотрите раздел пятнадцатый...

— Я вам доверяю, майор. Тогда мы временно отложим обвинение в лжесвидетельстве. Остается фальшивый паспорт.

— Вы должны доказать, что я не принял британское подданство, — быстро возразил доктор Циннер. — Где ваши свидетели? Вы намерены телеграфировать британскому послу?

Полковник Хартеп улыбнулся:

— Это займет так много времени. Мы пока отложим вопрос о фальшивом паспорте. Вы согласны, майор?

— Нет. Я думаю, будет правильнее, если мы отложим суд по более мелкому обвинению, пока он не будет осужден, — я хотел сказать: пока не будет вынесен приговор по более серьезному.

— Для меня это одно и то же, — сказал полковник Хартеп. — А вы, капитан?

Капитан кивнул, усмехнулся и закрыл глаза.

— А теперь обвинение в участии в заговоре, — сказал полковник Хартеп.

Майор Петкович перебил его:

— Я обдумал все это. Считаю, что в обвинительном акте надо употребить слово «измена».

— Ну хорошо, «измена».

— Нет, нет, полковник, теперь уже нельзя вносить поправки в обвинительный акт. Придется оставить «участие в заговоре».

— Высшая мера?

— И в том и в другом случае.

— Ну хорошо. Доктор Циннер, вы признаете себя виновным или не признаете?

Доктор Циннер с минуту раздумывал. Потом сказал:

— А какая разница?

Полковник Хартеп посмотрел на часы, потом взял со стола письмо.

— По мнению суда, этого достаточно для вынесения приговора.

У него был вид человека, который хочет вежливо, но непреклонно положить конец деловому разговору.

— Я думаю, что имею право на то, чтобы письмо прочли и подвергли перекрестному допросу солдата, отобравшего его.

— Без сомнения, — охотно согласился майор Петкович.

— Я не буду осложнять вам дело, — улыбнулся доктор Циннер. — Я признаю себя виновным.

«Но если бы военный трибунал заседал в Белграде, — сказал он про себя, — и журналисты в своей ложе записывали бы все, я боролся бы за каждый пункт». Теперь, когда ему не к кому было обращаться, он почувствовал прилив красноречия, ему на ум приходили резкие слова и слова, способные вызвать слезы. Он уже не был тем рассерженным человеком со связанным языком, которому не удалось заклеить миссис Питерс.

— Суд объявляет перерыв, — сказал полковник Хартеп.

В наступившем непродолжительном молчании слышно было, как ветер, словно злая сторожевая собака, метался вокруг станционных зданий. Перерыв был очень короткий, он длился ровно столько минут, сколько потребовалось полковнику Хартепу, чтобы написать несколько строк на листе бумаги и подвинуть его через стол на подпись обоим офицерам. Двое солдат встали немного посвободнее.

— «Суд признает всех арестованных виновными, — прочел полковник Хартеп. — Арестованный Йозеф Грюнлих приговаривается к одному месяцу заключения, после чего будет выслан на родину. Арестованная Корал Маскер приговаривается к тюремному заключению на двадцать четыре часа, после чего будет выслана на родину.

Арестованный...»

Доктор Циннер прервал его:

— Могу я обратиться к суду, прежде чем будет оглашен приговор?

Полковник Хартеп бросил взгляд на окно — оно было закрыто, взглянул на охранников — их бесстрастные лица выражали непонимание и отчужденность.

— Да, — разрешил он.

Лицо майора Петковича побагровело.

— Невозможно, — сказал он, — абсолютно невозможно. Предписание 27а. Арестованному надо было говорить до перерыва.

Начальник полиции посмотрел мимо острого профиля майора, туда, где на стуле, сгорбившись, сложив руки в серых шерстяных перчатках, сидел доктор Циннер. Снаружи прогудел паровоз, медленно пробирающийся по железнодорожному пути. За окном шелестел снег. Он смотрел на длинный ряд орденских колодок на своей шинели и на дыру в перчатке доктора Циннера.

— Это будет полное нарушение правил, — проворчал майор Петкович; одной рукой он машинально нащупал под столом свою собаку и стал трепать ее за уши.

— Принимаю к сведению ваш протест, — сказал полковник Хартеп и затем обратился к доктору Циннеру. — Вы знаете так же хорошо, как и я, — доброжелательно начал он, — что бы вы ни говорили, это уже не изменит приговора. Но если вам хочется что-то сказать, если это доставит вам удовольствие, то можете говорить.

Доктор Циннер ожидал возражений или унижительных реплик и в своем последнем слове намеревался дать им отпор. Но доброта и предупредительность полковника на миг лишила его дара речи. Он снова позавидовал тем качествам, которыми обладают только люди сильные, уверенные в себе. Доброжелательность молча ждавшего полковника Хартепа сковала ему язык. Капитан Алексич открыл глаза и снова закрыл их. Доктор начал медленно говорить:

— Эти награды вы получили за служение родине во время войны. У меня нет наград, ибо я слишком сильно люблю свою родину. Я не хочу убивать людей только за то, что они тоже любят свою родину. Я борюсь не за новую территорию, а за новый мир.

Его речь прервалась: здесь не было публики, которая могла бы подбодрить его, и он осознал, насколько выпренны его слова, они не могли служить доказательством движущих им великой любви и великой ненависти. В его мозгу промелькнули печальные и прекрасные лица, осунувшиеся от недоедания, преждевременно постаревшие, предавшиеся отчаянию; он знал этих людей, помогал им, но не мог их спасти. Мир превратился в хаос, ибо такое множество благородных людей бездействует, в то время как крупные финансисты и военные процветают.

— Вас нанимают для того, чтобы поддерживать никчемный старый мир, полный несправедливости и неразберихи, — продолжал он, — ведь такие люди, как Вускович, крадут крохотные сбережения бедняков, десять лет торопятся жить роскошной, сытой, тупой жизнью, а потом пускают себе пулю в лоб. А вам все-таки платят за то, что вы защищаете единственную систему, которая покровительствует людям вроде него. Вы сажаете мелкого вора в тюрьму, но крупный вор живет во дворце.

— То, что говорит арестованный, не имеет отношения к делу. Это политическая речь, —

вмешался майор Петкович.

— Пусть продолжает.

Полковник Хартеп заслони́л лицо рукой и закрыл глаза. Доктор Циннер подумал: «Он представляется спящим, хочет замаскировать свое безразличие», но тот снова открыл глаза, когда доктор гневно обратился к нему.

— Как вы устарели со своими границами и со своим патриотизмом! Самолет не знает границ, даже ваши финансисты их не признают.

Потом доктор Циннер заметил, что полковник Хартеп чем-то опечален, и при мысли, что, возможно, Хартеп не желает его смерти, ему снова стало трудно находить нужные слова. Он беспокойно переводил глаза с одного места на другое, от карты на стене к полочке с часами, заставленной книгами по стратегии и по военной истории в потрепанных переплетках. Наконец, его взгляд достиг двух охранников. Один глядел мимо, не обращая на него внимания, он старался смотреть в одну точку и держать винтовку под правильным углом. Другой не отводил от него больших, наивных, грустных глаз. Это лицо он присоединил к воображаемой печальной процессии, и тут он понял — аудитория у него более достойная, чем журналисты: здесь был бедняк, которого надо отлучить от несправедного дела и убедить, чтобы он служил праведному. И тогда доктор сразу нашел слова, отвлеченные, полные чувства слова, — они когда-то убеждали его самого, а сейчас должны были убедить другого. Но теперь он стал хитрее и с осторожностью, присущей его классу, не смотрел на солдата, стоявшего на часах, а лишь изредка бросал на него быстрый, словно хвост ящерицы, взгляд, обращаясь к нему во множественном числе: «Братья». Он убеждал его, что бедность не позор, но что не стыдно стараться разбогатеть, что бедность не преступление и вовсе не должна быть угнетенной; когда все станут бедняками, бедняков не будет вообще. Богатства мира принадлежат всем. Если разделить их между всеми, то исчезнут богачи, но у каждого будет достаточно еды и не надо будет стыдиться своих соседей.

Полковник Хартеп потерял к нему интерес. Доктор Циннер лишился своих отличительных черт, вроде серых шерстяных перчаток с дыркой на большом пальце; он превратился в обыкновенного уличного оратора. Посмотрев на часы, полковник сказал:

— Я думаю, что предоставил вам достаточно времени.

Майор Петкович пробормотал что-то себе под нос, он вдруг с раздражением пихнул ногой собаку и проворчал:

— Отстань! Вечно возись с тобой.

Капитан Алексич проснулся и сказал с огромным облегчением:

— Ну вот и закончили.

Доктор Циннер, уставившись в одну точку на полу, слева от охранника, медленно произнес:

— Это не был суд. Они приговорили меня к смерти прежде, чем начали судить. Помните, я умираю, чтобы открыть перед вами путь. Смерть мне не страшна. Жизнь моя не стоит того, чтобы бояться смерти. Мне кажется, если я умру, то принесу больше пользы. — Но пока он говорил, его ясный ум подсказывал ему, что вряд ли его смерть принесет кому-нибудь пользу.

— «Арестованный Ричард Циннер приговаривается к смертной казни, — прочел полковник Хартеп. — Приговор будет приведен в исполнение офицером, командующим гарнизоном в Суботице, через три часа».

«Тогда уже совсем стемнеет, — подумал доктор. — Никто об этом не узнает».

С минуту все сидели молча, как на концерте, когда исполнение окончено и публика не уверена, пора ли аплодировать.

Корал Маскер проснулась. Она не могла понять, что происходит. Офицеры переговаривались, перелистывали бумаги. Затем один из них отдал команду, охранники отворили дверь и двинулись навстречу ветру и снегу к белым запорошенным строениям.

Арестованные вышли за ними. Они держались близко друг к другу среди окружавшей их снежной бури. Не успели они немного отойти, как Йозеф Грюнлих дернул доктора Циннера за рукав.

— Почему вы ничего мне не говорите? Что со мной будет? Вы идете и молчите, — ворчал он, тяжело дыша.

— Тюремное заключение на месяц. А потом вас вышлют домой.

— Это они так полагают. Тоже умники нашлись.

Грюнлих замолчал, с пристальным вниманием рассматривая расположение зданий. Он споткнулся о рельсы и сердито проворчал что-то себе под нос.

— А я? Что будет со мной? — спросила Корал.

— Вас отправят домой завтра.

— Но я не могу туда ехать. Мне надо на работу. Я потеряю ее. А как же мой друг?

Она с самого начала боялась этого путешествия — боялась не понять, что ей говорят носильщики, боялась непривычной еды — и не знала, чем все это кончится. В этот момент, когда пассажирский помощник окликнул ее на мокром причале в Остенде, она готова была повернуть обратно. С тех пор произошли разные события, а теперь ей придется возвратиться на ту же квартиру, к тостам и апельсиновому соку на завтрак, к долгому ожиданию на лестнице у агентства вместе с Айви, и Фло, и Филом, и Диком. Все это приветливые ребята, при встрече с ними целуешься и называешь их просто по имени, хотя не имеешь о них ни малейшего представления. Близость с кем-то одним может разрушить мир дружеских отношений: начинаешь испытывать отвращение к поцелуям женщин и к их громкому щебетанию; обычная жизнь становится слегка нереальной и очень скучной. Даже доктор, шагающий перед ней в этом нереальном мире, не вызывал ее интереса. Но, дойдя до дверей зала ожидания, она вспомнила, что следует спросить его:

— А вы? Что будет с вами?

— Меня задержат здесь, — неопределенно ответил он, забыв пропустить ее вперед, когда они входили в зал.

— Куда они меня посадят? — спросил Йозеф Грюнлих, когда дверь за ними закрылась.

— А меня?

— На эту ночь, я думаю, в казармы. Поезда на Белград нет.

Печка потухла. Он посмотрел в окно, пытаясь увидеть крестьян, но им, наверное, надоело ждать и они отправились по домам.

— Ничего не поделаешь, — облегченно произнес он и добавил с мрачным юмором: — Быть

дома — это уже кое что.

На мгновение он увидел себя стоящим перед бесконечным пространством сосновых парт, перед рядами злобных лиц и вспомнил то время, когда сердце его ныло от их проказ, тайных сигналов и скрытого хихиканья, — все это могло лишить его средств к существованию: раз учитель не может поддерживать порядок в классе, его непременно следует уволить. Но его недруги даровали ему то, чего раньше он никогда не знал: безопасность. Не нужно было ничего решать. Он жил в спокойствии.

Доктор Циннер стал напевать какой-то мотив.

— Это старая песня, — объяснил он Корал Маскер. — Возлюбленный говорит: «Я не могу прийти днем, потому что я бедный и твой отец напустит на меня собак. Но ночью я подойду к твоему окну и попрошу тебя впустить меня к себе». А девушка отвечает: «Если залают собаки, стой, притаясь, в тени стены, я спущусь к тебе, и мы вместе пойдем в глушь фруктового сада».

Он пропел первый куплет слегка хриплым голосом, потому что давно не пел. Йозеф Грюнлих, сидя в углу, хмуро посмотрел на певца, а удивленная Корал, стоя у остывшей печки, слушала с удовольствием, потому что доктор, казалось, помолодел и был полон оптимизма. «Ночью я приду к твоему окну и попрошу тебя впустить меня к себе». Он обращался не к своей возлюбленной; слова эти были бессильны вызвать в памяти лицо девушки из тех лет, когда он занимался политикой и сухо подчинил все одной цели, но его родители укоризненно качали морщинистыми добродушными лицами, они уже не благоговели перед образованным человеком, доктором, почти джентльменом. Затем, немного тише, он еще раз спел партию девушки. Его голос звучал не так хрипло, он, наверное, когда-то был красивым; один из охранников подошел к окну и заглянул в зал, а Йозеф Грюнлих вдруг заплакал типично тевтонскими слезами, думая о сиротах, засыпанных снегом, о принцессах с ледяным сердцем и совершенно не вспоминая о Кольбере, чье тело везли теперь по грязному городскому снегу в похоронной машине в сопровождении двух погребальных агентов и одного провожающего в такси, пожилого холостяка, замечательного игрока в шашки. «Стой притаясь в тени стены, и я спущусь к тебе». В мире царил хаос: бедняки умирали от голода, а богачи не становились от этого счастливее; вора могли и наказать, и наградить титулами; в Канаде сжигали пшеницу, в Бразилии — кофе, а у бедняков его родной страны не хватало денег на хлеб, и они умирали от холода в нетопленых комнатах; мир расшатался, и он когда-то делал все возможное, чтобы навести в нем порядок, но теперь с этим покончено. Теперь он ничего уже не мог поделать, но был счастлив. «Мы пойдем туда, в глушь фруктового сада». В памяти опять не возникло никакой девушки, которая принесла бы ему утешение, а только грустные и прекрасные лица бедняков, навевавшие на него покой. Он сделал все, что мог, ничего большего от него и не ожидали; бедняки наделили его сознанием безысходности, посвятили в тайну своей духовной красоты, своих радостей и горя и повели его во тьму, полную шелеста листьев. Охранник прижался лицом к окну, и доктор Циннер перестал петь.

— Теперь ваша очередь, — сказал он Корал.

— О, я не знаю таких песен, которые бы вам понравились, — серьезно ответила она, в то же время отыскивая в памяти что-нибудь немного старомодное и грустное, что-нибудь подходящее к его печальной трогательной песенке.

— Но должны же мы как-нибудь скоротать время.

Корал вдруг начала петь небольшим, но чистым голосом, похожим на звук музыкального ящика:

Кто станет моим,
Я пока не решила,
Я с Майклом гоняла
С утра на машине.
Я с Питером в парке
Слонялась без дела.
А вечером с Джоном
На звезды глядела.
А после полуночи
Встретилась с Гарри,
С ним горького пива
Отведала в баре.
Но время наступит,
И что тут лукавить?
Сумею еще настроение поправить.
Любовь никого не обходит стороной,
Я все-таки стану хорошей девчонкой.

— Это Суботица? — закричал Майетт, когда сквозь буран вынырнули несколько глиняных домиков.

Шофер кивнул и указал рукой вперед. На середину шоссе выбежал ребенок, и машина резко метнулась в сторону, чтобы не наехать на него; пронзительно запищал цыпленок, и горсть серых перьев разлетелась по снегу. Из домика вышла старушка и закричала им вслед.

— Что она говорит?

Шофер повернул голову и усмехнулся:

— «Проклятые жида».

Стрелка спидометра задрожала и отступила: пятьдесят миль, сорок, тридцать, двадцать.

— Тут кругом солдаты, — сказал шофер.

— Вы думаете, здесь ограничение скорости?

— Нет, нет. Эти чертовы солдаты! Стоит им увидеть хорошую машину, сразу реквизируют. То же самое с лошадьми. — Он показал на поля сквозь несущийся снег: — Крестьяне — те все голодают. Я работал тут одно время, но потом решил: нет, мне надо жить в городе. В общем-то, деревня умерла. — Он кивнул в сторону железнодорожного пути, терявшегося в

снежном буране: — Один-два поезда в день — вот и все. Неудивительно, что красные устраивают беспорядки.

— А у вас тоже были беспорядки?

— Беспорядки? Стоило посмотреть на все это. Товарные склады все в огне; почтамт разбит вдребезги. Полиция в панике. Белград на военном положении.

— Я хотел послать отсюда телеграмму. Не пропадет она?

Машина, пыхтя, прокладывала себе дорогу, влезая на второй передаче на маленький холм, потом въехала на улицу с закопченными сажей кирпичными домами, заклеенными объявлениями.

— Если вы хотите послать телеграмму, то я бы послал ее отсюда. В Белграде очереди из газетчиков, почтамт разрушен, и властям пришлось конфисковать старый ресторан Николы. Понимаете, что это означает? Но где уж вам, вы ведь иностранец. Дело не в клопах, никто не против парочки клопов, это полезно для здоровья, но вонища...

— Хватит у меня времени послать отсюда телеграмму и успеть на поезд?

— Этот поезд еще долго простоит. Они потребовали другой паровоз, но никто в городе и слушать их не желает. Посмотрели бы вы на станцию, какая там неразбериха... Лучше бы я свез вас в Белград. Я бы вам и город показал. Мне известны все лучшие значные места.

— Сначала я поеду на почту, — перебил его Майетт. — А потом попробуем поискать мою даму в гостиницах.

— Тут их всего одна.

— А затем поищем на станции.

Отправка телеграммы заняла некоторое время. Сначала он должен был послать распоряжение Джойсу таким образом, чтобы не дать возможности Экману предъявить фирме обвинение в клевете. Наконец он остановился на следующем: «Экману немедленно предоставляется месячный отпуск. Пожалуйста, сразу же примите на себя полномочия. Приезжаю завтра». Такими словами он выражал свое распоряжение, но все это надо было зашифровать кодом фирмы, а когда шифрованная телеграмма была подана в окошко телеграфиста, тот отказался принять ее. Все телеграммы проходили через цензуру, и шифрованные сообщения не передавались. Наконец Майетт выбрался с почты, но в гостинице, где пахло засохшими растениями и клопомором, о Корал ничего не знали. «Она, наверное, еще на станции», — подумал Майетт. Он вышел из машины в ста метрах от вокзала, чтобы избавиться от шофера, — тот оказался чересчур уж разговорчивым и слишком навязывал свою помощь, — и стал один пробираться сквозь ветер и снег. Проходя мимо двух охранников, стоявших у дверей какого-то здания, он спросил их, как пройти в зал ожидания. Один из них сказал, что теперь никакого зала ожидания нет.

— Где же мне навести справки?

Тот, что был повыше ростом, предложил ему пойти к начальнику станции.

— А где его кабинет?

Солдат показал на другое здание, но любезно добавил, что начальника станции сейчас нет, он в Белграде.

Майетт сдержал досаду, — охранник казался таким доброжелательным. Его товарищ плюнул,

выражая свое презрение, и пробормотал себе под нос что-то относительно евреев.

— Где же мне тогда навести справки?

— Тут есть майор, а также помощник начальника станции, — с сомнением произнес охранник.

— Майора вам не удастся увидеть, он пошел в казармы, — сказал второй солдат.

Майетт, не раздумывая, приблизился к двери; за ней слышались тихие голоса. Мрачный охранник вдруг разозлился, он грубо ударил Майетта по ногам прикладом винтовки.

— Уходи отсюда. Нам ни к чему, чтобы здесь шныряли шпионы. Убирайся прочь, ты, жид.

С невозмутимостью, свойственной людям его национальности, Майетт отошел от двери. Это была внешняя невозмутимость — наследственная черта, — о ее существовании он даже не подозревал, но в душе испытывал негодование юноши, не сомневающегося в своей значительности. Он направился было к солдату, намереваясь бросить в побагровевшее лицо, похожее на звериную морду, какие-нибудь едкие слова, но вовремя остановился, с изумлением и ужасом ощутив опасность: в маленьких пронзительных глазах горела ненависть и жажда убивать, — словно все притеснения, погромы, узы, зависть и предрассудки, породившие все это, сгрудились в темной яме, вырытой в земле, и он смотрел вниз, стоя на краю. Он отпрянул назад, не спуская глаз с солдата, пальцы которого нащупывали курок.

— Я поговорю с помощником начальника станции. — Но его инстинкт приказывал ему быстро пойти прямо к машине и возвратиться в поезд.

— Не в ту сторону! — крикнул ему дружелюбный охранник. — Идите вон туда, через рельсы.

Майетт был рад, что буран ревел на путях и бешено несся между ним и солдатами. Там, где он стоял, ветер был не особенно сильный, он застревал в проходах между строениями, откуда, кружась, уносился за угол в разные стороны. Майетт сам удивлялся своему упорству, недоумевая, почему он медлит на пустой, полной опасностей станции; он убеждал себя, что у него нет никаких обязательств перед этой девушкой, и знал, что она согласилась бы с ним. «Мы квиты, — сказала бы она, — вы купили мне билет, а я дала вам возможность хорошо провести время». Но его привязывали к ней эта безропотность и ее отказ от каких-либо требований. Перед лицом такого смирения следовало быть только щедрым. Он перебрался через линию и толкнул какую-то дверь. За столом, спиной к двери, сидел человек и пил вино. Майетт сказал тоном, как ему казалось, безапелляционным и внушительным:

— Я хочу получить справку.

У него не было причин опасаться гражданского служащего, но, когда этот человек обернулся и, увидев Майетта, бросил на него хитрый и наглый взгляд, он пришел в отчаяние. Над письменным столом висело зеркало, и на секунду Майетт ясно увидел в нем свое отражение — низенький, толстый, носатый, в тяжелом меховом пальто — и тут же догадался: эти люди ненавидят его не только из-за того, что он еврей, но для них, примирившихся с бедностью, он был еще и олицетворением денег.

— Какую? — спросил чиновник.

— Я хочу получить справку о девушке с Восточного экспресса, которая отстала здесь сегодня утром.

— Как это так? — дерзко спросил чиновник. — Если кто-нибудь здесь выходит из поезда, так он сюда и едет, а не отстает. А сегодня этот поезд стоял здесь больше получаса.

— Но девушка-то вышла из него?

— Нет.

— А вы не можете просмотреть сданные билеты и проверить?

— Нет. Я же сказал вам, никто не вышел. Чего вы тут ждете? Мне некогда с вами разговаривать. Я человек занятой.

Майетт вдруг подумал, что он не прочь послушаться этого чиновника и прекратить поиски: он сделал все, что было в его силах, и хотел освободиться. На мгновение он сравнил Корал с маленьким переулком, который влечет к себе проходящих мимо мужчин, но оказывается — это тупик с глухой стеной в конце; есть ведь и другие женщины, они как улица со множеством магазинов, сверкающих и теплых, — такая улица всегда куда-то ведет. И тут ему вспомнилась Джанет Пардоу. Он достиг того возраста, когда уже хочется жениться и иметь детей, разбить свой шатер и умножить свое племя. Но чувства его были слишком щепетильны: они будили его совесть по отношению к той, которая совсем не надеялась на брак, а стремилась только честно заплатить ему и отдать свою привязанность. И он опять вспомнил ее странный и неожиданный стон и восклицание: «Я люблю тебя». Он вернулся от двери к столу чиновника, решив сделать все от него зависящее. Возможно, она попала в затруднительное положение, сидит на мели, без денег, возможно, она напугана.

— Люди видели, как она вышла из поезда.

— Что вы от меня хотите? Чтобы я пошел искать ее в этот буран? — заворчал чиновник. — Говорю вам, мне о ней ничего не известно. Не видел я никакой девушки.

Голос его стал помягче, когда он увидел, как Майетт достает бумажник. Майетт вынул ассигнацию в пять динаров и разгладил ее пальцами.

— Если вы сможете сказать мне, где она, вы получите две таких.

Чиновник стал слегка заикаться, на глаза у него навернулись слезы, и он сказал с горьким сожалением:

— Если бы я мог, если бы я только мог, поверьте мне, я был бы рад помочь. — Его лицо осветилось, и он с надеждой предложил: — Вам надо попытаться навести справку в гостинице.

Майетт положил бумажник в карман — он сделал все, что мог, — и пошел искать свою машину.

В последние несколько часов солнце скрывалось за облаками, но о его присутствии свидетельствовали блеск падающего снега и белизна сугробов; теперь оно садилось, и снег поглощал серый цвет неба. Пока светло, Майетту не добраться до поезда. Но даже надежда успеть на поезд померкла: подойдя к машине, он узнал, что мотор застыл, хотя радиатор был укрыт тряпками.

IV

— Петь-то хорошо, — сказал Йозеф Грюнлих.

Хотя он и порицал пассивность доктора и Корал, его глаза покраснели от слез и он с усилием

выбросил из головы маленьких продавщиц спичек и принцесс с ледяным сердцем. «Так легко они меня не поймают». Он зашагал вдоль стен зала ожидания; посплюнув большой палец, он принялся ощупывать деревянную обивку.

— Меня ни разу в тюрьму не сажали. Вы, наверное, удивитесь, но это так. В моем возрасте такое ни к чему. И меня высылают обратно в Австрию.

— А вас там ищут?

Йозеф Грюнлих одернул жилет, при этом его серебряный крестик закачался.

— Вам я, пожалуй, могу сказать. Мы ведь все заодно, а? — Он немного покрутил головой, словно от прилива скромности. — Я убил человека в Вене.

— Значит, вы убийца? — в ужасе спросила Корал.

«Мне бы хотелось рассказать им, ведь все так здорово было проделано, зачем держать это в тайне? — раздумывал Йозеф Грюнлих. — Быстрота-то какая! «Взгляните туда, герр Кольбер!» Дергаю шнурок, прицеливаюсь, стреляю дважды, предсмертная судорога, человек мертв — все за две секунды. Но лучше не надо рассказывать». Он подбодрил себя предостерегающим девизом своей профессии — непреложное правило, сдерживающее самоуверенность: «Никогда не знаешь, что тебя ждет».

Он засунул палец за воротничок и беззаботно сказал:

— Мне пришлось это сделать. Вопрос чести. — Грюнлих чуточку поколебался. — Он... Как бы это сказать? Из-за него дочь моя стала распухать.

Он с трудом удержался от смеха, когда подумал о Кольбере, маленьком и сухощавом, и о его раздраженном возгласе: «Хорошенькая история».

— Вы и вправду убили его только потому, что он нечестно поступил с вашей дочерью? — с изумлением спросила Корал.

Йозеф Грюнлих рассеянно поднял руки, устремив взгляд на окно и прикидывая, высоко ли оно над землей.

— А что мне оставалось делать? Ее честь, моя честь...

— Черт возьми, какое счастье, что у меня не было отца.

— Нет ли у вас шпильки? — вдруг спросил Грюнлих.

— Какой шпильки?

— Или перочинного ножа?

— Нет у меня никаких шпилек. Зачем они мне?

— У меня есть нож для бумаги, — предложил доктор Циннер. Подавая его Грюнлиху, он спросил: — Вы можете сказать, сколько времени мы уже сидим здесь? Мои часы остановились.

— Час, — ответил Грюнлих.

— Значит, остается еще два часа, — задумчиво произнес доктор Циннер.

Двое других не расслышали его. Йозеф на цыпочках подошел к двери с ножом для бумаги в

руках, а Корал наблюдала за ним.

— Подойдите сюда, барышня, — сказал Йозеф и, когда она была совсем рядом с ним, шепотом спросил: — Есть у вас какой-нибудь жир?

Она достала из сумки баночку с кремом, и он щедро покрыл им дверной замок, оставив чистым только маленький кусочек. Он тихонько засмеялся, согнулся почти вдвое, разглядывая замок. «Вот так замок! — торжествуяще прошептал он. — Вот так замок!»

— А зачем вам крем?

— Чтобы не шуметь. Крем поможет мне действовать без шума. — Он вернулся к остывшей печке и махнул им рукой, подзывая к себе. — Замок совсем пустяковый, — тихо сказал он. — Если бы мы могли отвлечь одного из охранников, нам удалось бы сбежать.

— Вас бы застрелили, — сказал доктор Циннер.

— Они не могут застрелить всех троих сразу, — возразил Грюнлих и в ответ на их молчание добавил только два слова: — Темнота. Снег. — И отступил на шаг, ожидая их решения.

Его собственный ум работал четко. Он первый выйдет из дверей, первый побежит — бежать он сможет быстрее, чем пожилой человек и девушка; охранник будет стрелять в ближайшего к нему беглеца.

— Я посоветовал бы вам остаться, — сказал доктор Циннер, обращаясь к Корал. — Вам здесь ничего не грозит.

Грюнлих открыл рот, намереваясь возражать, но ничего не сказал. Все трое смотрели сквозь окно на шагающего назад и вперед охранника с винтовкой через плечо.

— Сколько вам нужно времени, чтобы открыть дверь? — спросил доктор Циннер.

— Пять минут.

— Тогда принимайтесь за работу.

Доктор Циннер постучал в окно — подошел другой охранник. Его большие дружелюбные глаза приблизились к стеклу и внимательно смотрели в зал ожидания. В зале было темнее, чем снаружи, и он ничего не увидел, кроме неясных фигур, без усталости бродивших туда и сюда, чтобы согреться. Доктор Циннер коснулся ртом окна и заговорил с ним на его родном языке:

— Как вас зовут?

Нож для бумаги скрипел: «скретч, скретч, скретч», но, когда он соскакивал с винта, визг его заглушался слоем крема.

— Нинич, — прозвучал сквозь стекло неясный голос.

— Нинич, — медленно повторил доктор Циннер, — Нинич. Я, кажется, знал вашего отца в Белграде.

Эта примитивная ложь не вызвала у Нинича никакого сомнения; он прижался носом к стеклу, но ничего не увидел в зале ожидания: ему мешало лицо доктора.

— Отец умер шесть лет назад.

Доктор Циннер рисковал очень немногим, — ведь он хорошо знал жизнь бедняков в

Белграде, и ему было известно, как они питались.

— Да. Он болел, когда я встретился с ним. Рак желудка.

— Рак?

— Боли.

— Да, да, в животе. Они начинались вечером, и все лицо его покрывалось испариной. Мать все время лежала возле него с тряпкой и вытирала ему лицо. Подумайте, вы знали его, ваша честь. Хотите, я открою окно, чтобы нам проще было поговорить?

Нож у Грюнлиха все скрипел, скрипел и скрипел; вывинченный шуруп упал на пол, звякнув, как булавка.

— Нет, это может не понравиться вашему напарнику.

— Он пошел в город, в казармы, к майору. Тут какой-то иностранец наводит справки. Мой напарник думает, здесь что-то не так.

— Иностранец? — спросил доктор Циннер. У него перехватило дыхание, появилась какая-то надежда. — Он уже уехал?

— Только что пошел обратно к своей машине, туда, на шоссе.

Зал ожидания был погружен во тьму. Доктор Циннер на минуту отвернулся от окна и тихо спросил:

— Как у вас дела? Можете побыстрее?

— Еще две минуты, — ответил Грюнлих.

— Здесь какой-то иностранец с машиной на шоссе. Наводил справки.

Корал сжала руки и тихо сказала:

— Он вернулся за мной. Вот видите? А вы говорили, он не приедет. — Девушка тихонько засмеялась, и, когда доктор Циннер шепотом попросил её не шуметь, она сказала: — Это не истерика, я просто счастлива.

Она подумала: «В конце концов, мое ужасное приключение принесло пользу, оно доказало, что Майетт влюблен в меня, иначе он ни за что бы не вернулся. Он, наверное, опоздал на поезд, и нам придется вместе провести ночь в Белграде, может быть, две ночи», — и она стала мечтать о шикарных отелях, об обедах и о его руке, держащей её под руку.

Доктор Циннер снова повернулся к окну:

— Нас мучает жажда. Есть у вас вино?

Нинич покачал головой:

— Нет, — и добавил с сомнением: — У Лукича есть бутылка ракии там, через дорогу.

Из-за спускающейся темноты расстояния казались длиннее; луны не было, и сталь рельсов не блестела; казалось, до лампы в кабинете начальника станции было сто метров, а не десять.

— Постарайся достать нам вина.

Тот покачал головой:

— Мне нельзя отходить от двери.

Доктор Циннер не предложил ему денег; он только прокричал через стекло, что лечил отца Нинича:

— Когда боль становилась нестерпимой, я давал ему таблетки.

— Маленькие круглые таблетки?

— Да. Таблетки морфия.

Нинич задумался, прижавшись лицом к стеклу. По его глазам было видно, что мысли в его голове мечутся, как рыбы в тесном сосуде.

— Подумать только, вы давали ему эти таблетки. Он обычно принимал одну, когда начинались боли, и еще одну на ночь. Тогда он мог поспать.

— Да.

— Сколько всего я смогу рассказать жене!

— А как же с вином? — напомнил ему доктор Циннер.

— Если вы попытаетесь бежать, пока я отойду, мне не миновать беды.

— Как мы сможем убежать? Дверь заперта, а окно слишком маленькое.

— Тогда ладно.

Доктор Циннер посмотрел, как он уходит, и с тяжелым вздохом повернулся к остальным:

— Ну вот.

Он вздохнул, пожалев о потерянной уверенности в себе. Борьба возобновлялась. Бежать, если возможно, был его долг. Но побег вызывал у него отвращение.

— Секунду, — сказал Грюнлих. У двери продолжался скрип.

— Снаружи никого нет. Охранники по другую сторону пути. Когда выйдете, поверните налево и еще раз налево между зданиями. Машина на шоссе.

— Я все это знаю, — сказал Грюнлих, и другой шуруп, звякнув, упал на пол. — Готово.

— Вам бы следовало остаться здесь, — сказал доктор Циннер, обращаясь к Корал.

— Но я не могу. Мой друг там, на шоссе.

— Готово, — повторил Грюнлих, сердито взглянув на них.

Все трое собрались возле двери.

— Если начнут стрелять, бегите зигзагами, — посоветовал доктор Циннер.

Грюнлих толкнул дверь, и ветер стал наносить в нее снег. Снаружи было светлее, чем в зале; лампа начальника станции по ту сторону пути освещала видную в окно фигуру охранника. Грюнлих первый нырнул в метель. Он пригнул голову почти до колен и понесся вперед, словно мяч. Остальные последовали за ним. Бежать было нелегко. Ветер и снег, их враги,

соединились, чтобы гнать их назад: ветер не давал им бежать быстро, а снег слепил глаза. Корал тяжело вздохнула: она наткнулась на высокую чугунную колонну с хоботом, как у слона, служившую для подачи воды в паровозы. Грюнлих был далеко впереди, доктор Циннер немного отстал. Она слышала, как он тяжело дышит. Снег заглушал их шаги, и они не решались громко окликнуть шофера автомобиля.

Прежде чем Грюнлих достиг прохода между зданиями, хлопнула дверь, кто-то закричал, раздался выстрел. Первый рывок Грюнлиха ослабил его силы. Расстояние между ним и Корал уменьшалось. Охранник выстрелил дважды, и Корал услышала свист пуль высоко над головой. Она подумала, не нарочно ли он стреляет выше цели. Еще десять секунд, и они забегут за угол, скроются у него из виду, но их заметят из машины. Она услышала, как снова открылась дверь, пуля взметнула снег возле нее, и она побежала изо всех сил. Девушка была почти рядом с Грюнлихом, когда они добежали до угла. Доктор Циннер вскрикнул позади нее, и Корал подумала, что он ее подгоняет, но прежде, чем обогнуть угол, она оглянулась и увидела, как он обеими руками схватился за стену. Она остановилась и позвала: «Герр Грюнлих!» — но тот, не обратив на нее внимания, завернул за угол и исчез из виду.

— Бегите дальше, — приказал доктор Циннер.

Свет, сиявший на горизонте, меньше закрытом облаками, померк.

— Обопритесь на мою руку, — предложила она.

Доктор послушался, но он был слишком тяжел для нее, хотя и пытался помогать ей, держась рукой за стену. Они добрались до угла. На расстоянии около ста метров, сквозь мглу и снег, мерцали задние огни машины. Корал остановилась.

— Не могу, — сказала она.

Он не ответил ей, но, когда она отняла руку, соскользнул на снег. Несколько секунд она раздумывала: может, оставить его здесь? Она убеждала себя: он-то ни за что не стал бы ее ждать. Но ей не угрожала большая опасность, а ему угрожала. Она заколебалась, нагнувшись, чтобы разглядеть его побледневшее морщинистое лицо, и увидела, что усы его в крови. Из-за угла донеслись голоса, и она поняла, что у нее нет времени принимать решение. Доктор Циннер сидел прислонившись спиной к деревянной двери, закрытой на засов, она втощила его вовнутрь и снова закрыла дверь, но не решилась опять задвинуть засов. Кто-то пробежал мимо, шумел мотор машины. Потом машина заворчала сильнее, и, удаляясь, ворчание превратилось в шепот. Сарай был без окон; стало совсем темно, и покидать доктора теперь уже было поздно.

Она пошарила у него в карманах и нашла коробку спичек. В одном конце сарая было сложено что-то, доходившее до половины его высоты. Чиркнув другую спичку, она увидела набитые чем-то мешки, нагроможденные в два ряда до высоты в двойной человеческий рост. В правом кармане доктора Циннера оказалась сложенная газета. Она оторвала страницу и скрутила ее в жгут — теперь света было достаточно, и она могла оттащить доктора в угол сарая; она боялась, что в любой момент охранник может открыть дверь. Но доктор Циннер был слишком тяжел для нее. Она поднесла горящий жгут бумаги к его глазам, чтобы посмотреть, не потерял ли он сознание, — едкий дым привел его в чувство. Он открыл глаза и с изумлением посмотрел на нее.

— Я хочу спрятать вас среди мешков, — прошептала она.

Он, казалось, не понял ее, и она медленно и отчетливо повторила эти слова.

— Ich sprech kein Englisch,[16] — проговорил он.

«Ох, зачем я не бросила его. Могла бы быть уже в машине. Он, наверное, умирает, совсем не понимает, о чем я говорю». И она пришла в ужас при мысли, что останется в сарае наедине с мертвецом. Пламя погасло, его заглушила зола. Стоя на четвереньках, она нащупала газету, оторвала страницу, сложила ее и снова скрутила жгут. Она забыла, куда положила спички, и на четвереньках стала шарить по полу вокруг себя. Доктор Циннер начал кашлять, и что-то зашевелилось на полу возле ее рук. Она подумала, что это крыса, и чуть не вскрикнула от страха, но когда наконец нашла спички и зажгла жгут, то увидела — это шевелился доктор. Он зигзагами отползал в конец сарая. Она пыталась помочь ему, но он, видимо, не замечал ее присутствия. Во время этого медленного передвижения доктора по полу она удивлялась, почему никто не заглядывает в сарай.

Доктор Циннер совершенно обессилел, когда дополз до мешков; он уткнулся в них лицом, изо рта у него бежала кровь. Опять вся ответственность легла на нее. Она подумала, не умирает ли он, и приблизив губы почти к самому его уху, спросила:

— Позвать на помощь?

Она боялась, что он ответит по-немецки, но на этот раз он произнес совершенно ясно:

— Нет, нет.

«В конце концов, он же доктор, он должен знать», — подумала она.

— Чем я могу вам помочь?

Он покачал головой и закрыл глаза; кровь перестала бежать, и ей показалось, что ему лучше. Она стащила мешки из верхнего ряда и стала сооружать нечто вроде пещеры достаточной величины для них обоих, ее и доктора, и нагромоздила мешки у входа — так, чтобы от двери их никому не могло быть видно. Мешки с зерном были тяжелые, и Корал не успела закончить работу, когда услышала голоса. Она залезла в нору, скрестив пальцы на счастье, дверь отворилась, и фонарь осветил мешки над ее головой. Затем дверь закрылась, и снова наступила тишина. Она долго не могла набраться мужества, чтобы закончить свою работу.

— Мы опоздаем на поезд, — сказал Майетт, глядя, как шофер безуспешно крутит заводную ручку, — стартер не действовал.

— Назад я вас повезу быстрее.

Наконец машина начала просыпаться, заворчала, заснула и опять проснулась.

— Теперь-то мы поедem, — сказал шофер, влезая на свое сиденье и включая фары, но, пока он убеждал мотор работать без перебоев, сзади, во мгле, раздался какой-то хлопок.

— Что такое? — спросил Майетт; он подумал, что это выхлоп машины.

Затем хлопок повторился, а немного погодя раздался другой звук, словно из бутылки вылетела пробка.

— Стреляют на станции, — сказал шофер, включив стартер. Майетт оттолкнул его руку.

— Мы подождem.

— Подождem? — повторил шофер, — Это солдаты. Нам лучше убраться отсюда, — торопливо объяснил он.

Он не подозревал, как Майетту хотелось последовать его совету. Майетт был напуган: в отношении к себе солдат он почувствовал тот самый настрой, который может повести к погромам, — но все же продолжал упрямяться; он не был полностью уверен, что сделал все возможное для розыска девушки в Суботице.

— Они идут сюда, — сказал шофер.

Кто-то бежал по дороге со станции. Вначале снегопад скрывал его от них. Потом они увидели зигзагами бегущего к машине человека. Он добежал до них поразительно быстро; маленький и толстый, он хватался за дверь, стараясь влезть в машину.

— В чем дело? — спросил его Майетт.

У незнакомца слегка заплетался язык.

— Уезжайте отсюда быстрее.

Дверь заело, он перевалился через верх и, задыхаясь, плюхнулся на заднее сиденье.

— Есть там кто-нибудь еще? — спросил Майетт. — Вы один?

— Да, да, один. Поезжайте отсюда быстрее.

Майетт обернулся назад и попытался разглядеть его лицо.

— А девушки там нет?

— Нет. Никакой девушки.

Где-то около станционных зданий вспыхнул огонь, и пуля царапнула крыло автомобиля. Шофер, не ожидая приказаний, резко нажал ногой, и машина рванулась с места. Она рикошетом перескакивала по шоссе из одной ямы в другую. Майетт снова стал всматриваться в лицо незнакомца.

— Вы ведь были в Стамбульском экспрессе?

Человек кивнул.

— И вы не видели девушки на станции?

Тот вдруг разговорился:

— Я расскажу вам все, что произошло.

Речь его была неясной; многие фразы заглушала ныряющая машина; он сказал, будто его задержали потому, что он не предъявил таможене кусочек кружев; солдаты плохо с ним обращались и стреляли в него, когда он сбежал.

— И вы не видели никакой девушки?

— Нет. Никакой девушки.

Взгляд его абсолютно искренне ответил на упорный взгляд Майетта. Надо было долго всматриваться ему в глаза, чтобы отыскать в их непроницаемой глубине проблеск злобы, огонек хитрости.

Хотя деревянные стены содрогались от ветра, в темном сарае без окон среди мешков было тепло. Доктор Циннер поворачивался снова и снова, чтобы избавиться от боли в груди, но она мучила его; только в тот момент, когда он поворачивался, ему становилось немного легче; если же он лежал спокойно, боль возвращалась. Поэтому всю ночь он беспрестанно ворочался. Временами он сознавал, что снаружи ветер, и принимал шорох снегопада за шуршание гальки на берегу моря. В такие минуты, лежа в сарае, он вспоминал о годах изгнания и начинал склонять немецкие существительные или спрягать французские неправильные глаголы. Но его воля к борьбе ослабла, и, вместо того чтобы упрямо и с сарказмом сопротивляться своим страданиям, он плакал.

Корал Маскер положила его голову удобнее, но он снова сдвигал и поворачивал ее, беспрестанно бормоча что-то, слезы катились по его щекам и текли на усы. Она уже не пыталась помочь ему, силясь найти в прошлом убежище от своего страха. И теперь, если бы их мысли обрели видимые очертания, сарай наполнился бы странной мешаниной. Под цветными светящимися буквами, образующими вывеску «Здесь выступает Крошка», священник перекинул ряску через руку и шмыгнул с куском мела к классной доске; группа детей преследовала одного ученика, они издевались над ним, вбегали в дверь на сцену и выбегали из нее, носились вверх и вниз по лестнице, ведущей в контору агента по найму. В стеклянной будке на мрачном берегу моря женщина ругала соседа, в это время колокол звонил, созывая людей к чаю или на молитву в часовню.

— Wasser,[17] — прошептал доктор Циннер.

— Что вы хотите? — Она наклонилась над ним, вглядываясь в его лицо. — Позвать кого-нибудь?

Он не слышал.

— Хотите попить?

Он не замечал ее и все время повторял: «Wasser». Она знала, что он в бреду, но нервы ее уже не выдерживали, и она сердилась на то, что он не в состоянии отвечать ей.

— Ну ладно, тогда лежите здесь. Я сделала все, что могу, это уж точно.

Она отползла от него как можно дальше и попыталась заснуть, но стены сарая дрожали, и это не давало ей спать. Стоны ветра обостряли ее одиночество, и она подползла обратно к доктору Циннеру, чтобы найти утешение вблизи живого существа.

— Wasser, — прошептал он опять.

Она дотронулась рукой до его лица и удивилась, какой горячей и сухой была его кожа. «Наверное, он хочет воды», — подумала она и с минуту размышляла, где взять воды, пока не сообразила, что вода падала с неба вокруг нее и нагромождалась сугробами у стен сарая. У нее возникло неясное сомнение: можно ли давать воду людям с высокой температурой? Но когда она вспомнила, какая сухая у него кожа, жалость взяла верх.

Хотя вокруг Корал всюду была вода, быстро достать ее оказалось нелегко. Ей пришлось зажечь два жгута и, пока они горели, вылезти из норы, устроенной среди мешков. Она смело открыла дверь. Теперь она отчасти желала, чтобы их обнаружили, но ночь была темная и вокруг никого не было видно. Она набрала горсть снега, вернулась в сарай и закрыла дверь; когда она закрывала ее, сквозняк задул ее факел.

Она окликнула доктора Циннера, но он не ответил, и она испугалась при мысли, что он, возможно, уже умер. Закрывая одной рукой лицо, она шагнула вперед, но натолкнулась на стену. Она помедлила один миг, но тут же обрадовалась, услышав какое-то движение, и

пошла в ту сторону, но снова наткнулась на стену. Все больше пугаясь, она подумала: «Наверное, это шевелилась крыса». Снег у нее в руке уже начал таять. Она опять окликнула доктора, и на этот раз он ответил шепотом. Она отпрянула — он оказался совсем близко от нее — и, протянув руку в сторону, сразу же нащупала баррикаду из мешков. Она засмеялась, но тут же приказала себе: «Не впадай в истерику. Все лежит на тебе» — и попыталась утешиться, уверяя себя, что впервые исполняет главную роль, доступную только для звезды, но в темноте и без аплодисментов играть с блеском было нелегко.

Пока Корал искала нору среди мешков, большая часть снега растаяла или просыпалась, но она прижала остатки к губам доктора. Видимо, ему от этого полегчало. Он лежал тихо и очень спокойно, пока снег на его губах таял и просачивался в рот сквозь зубы.

Она зажгла жгут бумаги, чтобы посмотреть на его лицо, и удивилась, какой у него осмысленный взгляд. Она заговорила с ним, но он был поглощен своими мыслями и не ответил.

Циннер серьезно обдумал свое положение, смысл своей второй неудачи. Он знал, что умирает; он пришел в чувство из-за прикосновения холодного снега к языку и после минутного замешательства вспомнил все. По источнику боли он мог определить, куда попала пуля, понимал, что его лихорадит и что у него смертельное внутреннее кровотечение. На миг он подумал, что его долг — смахнуть снег с губ, но потом понял: нет у него никакого долга, кроме как перед самим собой.

Когда девушка зажгла жгут, он думал: «Грюнлиху удалось бежать». Его забавляла мысль о том, как тяжело будет сбежавшему христианину вымолить прощение за его, доктора, смерть. Он усмехнулся. Но потом его христианское воспитание взяло верх над иронией, и он начал вспоминать события последних нескольких дней, стараясь определить, в чем ошибся и почему другим повезло. Он видел, как экспресс, в котором они ехали, несется, словно ракета, рассекая темное небо. Его обхаживали с любой хитростью, на какую только были способны, пробуя и то и другое, балансируя то в одном, то в другом направлении. Тут надо было обладать чутьем. Быть очень уступчивым, ко всему приспособившись. Снег на губах совсем растаял и уже не облегчал его страданий. Прежде чем жгут догорел до конца, взор его затуманился и большой сарай с кучей мешков погрузился во тьму. Он не сознавал, что находится в сарае; ему казалось, будто его покинули, а сарай исчезал у него на глазах. Сознание его помутилось, и он стал падать в бесконечность, задыхаясь, с продуваемой сквозняком пустотой в голове и в груди, потому что он не мог удержать равновесие — под ногами у него был то корабль, то комета, то земной шар или всего лишь скорый поезд из Остенде в Стамбул. Его отец и мать склоняли над ним морщинистые худые лица, они следовали за ним в небеса, мимо стремительно несущихся звезд, и говорили, как они счастливы и полны благодарности, — ведь он совершил все возможное и остался верным своему делу. Он задыхался и не мог ничего сказать в ответ, его тянуло вниз земное притяжение, причиняя невыносимую боль. Он хотел сказать им, что верность была его проклятием, что необходимо менять свой путь. Но пока он падал и падал в страшных мучениях, ему пришлось выслушивать их лицемерные утешения.

В сарае невозможно было понять, насколько уже стемнело; когда Корал зажгла спичку и посмотрела на часы, она огорчилась, как медленно течет время. Спичек оставалось мало, и она не решилась зажечь вторую. Она раздумывала, не выйти ли ей из сарая и не сдать ли, — ведь у нее теперь уже не было надежды снова увидеть Майетта. Возвратись сюда, он сделал больше, чем можно было от него ожидать; вряд ли он мог вернуться еще раз. Но ее пугал внешний мир, она боялась не солдат — ее страшили агенты по найму, длинные лестницы, квартирные хозяйки. Она боялась возвращаться к прежней жизни. Пока она лежала рядом с доктором Циннером, в ней сохранялось нечто от Майетта — память, которая их объединяла. «Конечно, я могу написать ему, — говорила она себе, — но, возможно, пройдут месяцы, прежде чем он вернется в Лондон». Ей трудно было предположить, что он

сохранит прежние чувства и желания, раз ее нет рядом с ним. Она знала также, что может настоять на их встрече, когда он вернется в Лондон. Он поймет, что обязан, по крайней мере, пригласить ее на завтрак. Но «я не гонюсь за его деньгами» — эти слова она вслух прошептала в темном сарае, лежа возле умирающего. Одиночество, сознание того, что по какой-то причине, один бог знает почему, она полюбила Майетта, на мгновение вызвало в ней чувство протеста: «Почему бы и нет? Почему бы мне не написать ему? Может быть, это будет ему приятно? Может быть, я все еще желанна, а если нет, то почему бы мне не побороться за него? Я устала быть примерной, совершать правильные поступки». Ее мысли были очень близки к мыслям доктора Циннера, когда она воскликнула про себя, что все это ни к чему.

Но Корал слишком хорошо знала, что таков был ее характер, такой она родилась и должна примириться с этим. Она была неумелой и в других делах: непреклонная там, где следовало быть мягкой, уступчивая, когда надо быть твердой. Даже теперь она не могла долго думать с завистью и восхищением о том, как это Грюнлих умудрился умчаться отсюда на машине во тьму, сидя рядом с Майеттом. Ее мысли с упрямым упорством возвращались к Майетту, такому, каким она видела его в последний раз, когда он сидел в вагоне-ресторане, поглаживая пальцами золотой портсигар. Но она ни на минуту не забывала, что Майетт не обладает теми качествами, которые оправдывали бы ее преданность. Такой уж она была от природы, а он был добр к ней. У нее мелькнула мысль, что и доктор Циннер был такой же, как она, слишком правдивый с людьми. Сквозь тьму она слышала его тяжелое дыхание и снова думала без горечи и осуждения: «Такое ничем не окупится».

Развилка дорог вынырнула перед фарами. Шофер поколебался на мгновение дольше, чем было нужно, и повернул руль так резко, что машину понесло юзом на двух колесах. Йозеф Грюнлих перелетел с одного конца сиденья на другой, охнув от страха. Он не решался открыть глаза до тех пор, пока все четыре колеса не коснулись земли. Они съехали с главного шоссе, и машина запрыгала по колеям проселочной дороги; под ослепительным светом деревья с наливающимися почками казались вырезанными из картона. Майетт, перегнувшись назад с переднего сиденья, объяснил:

— Он хочет быть подальше от Суботицы и переехать железную дорогу по переходу для скота. Так что держитесь покрепче.

Деревья исчезли, и они вдруг с ревом съехали под уклон среди пустого, покрытого снегом поля. Скот превратил дорогу в месиво грязи, но сейчас эта грязь подмерзла. Вдруг снизу их осветили два красных фонаря, кусочек рельсов заблестел изумрудными каплями. Огни заметались, то отступая, то приближаясь, раздался чей-то голос.

— Прорвемся через них? — невозмутимо спросил шофер; нога его готова была нажать на акселератор.

— Нет, нет! — воскликнул Майетт.

У него не было причины нарываться на неприятности из-за чужого человека. Он увидел солдат с фонарями. В серых шинелях, с револьверами. Машина остановилась между ними, перескочив через первый рельс и застыв в наклонном положении, словно вытасченная на берег лодка. Один из солдат сказал что-то, и шофер перевел его слова на немецкий.

— Он хочет проверить наши документы.

Йозеф Грюнлих спокойно откинулся на подушки, скрестив ноги. Одной рукой он лениво играл серебряной цепочкой. Когда один из солдат поймал его взгляд, он слегка улыбнулся и кивнул ему; любой бы принял его за богатого и общительного дельца, путешествующего в сопровождении секретаря. Майетт же волновался, уткнувшись в воротник шубы, он

вспоминал возглас той женщины: «Проклятые жида!»), взгляд часового, наглость чиновника. Вот именно в таких забытых богом местах, среди скованных морозом полей и тощего скота еще была сильна та древняя ненависть, которую мир постепенно изживал. Солдат направил свет фонаря ему в лицо и нетерпеливо и презрительно повторил свой приказ. Майетт вынул паспорт, солдат взял его и, держа вверх ногами, внимательно рассмотрел льва и единорога, затем произнес по-немецки единственное знакомое ему слово:

— Englander?[18]

Майетт кивнул, солдат швырнул паспорт на сиденье и погрузился в изучение документов шофера — они разворачивались в длинную полоску, словно детская книжка. Йозеф Грюнлих незаметно наклонился вперед и взял с переднего сиденья паспорт Майетта. Он широко улыбнулся, когда красный свет фонаря осветил его лицо и упал на паспорт. Охранник позвал товарища, они стояли и разглядывали Грюнлиха, освещенного фонарем, тихо переговариваясь между собой, не обращая внимания на его гримасы.

— Чего им надо? — недовольно спросил он с застывшей улыбкой на жирном лице.

Один из солдат отдал приказ, который перевел шофер:

— Встаньте.

С паспортом Майетта в одной руке, перебирая другой серебряную цепочку, он повиновался, и они осветили его фонарем с ног до головы. Он был без пальто и дрожал от холода. Один из солдат засмеялся и ткнул его пальцем в живот.

— Они проверяют, настоящая ли она, — объяснил водитель.

— Что настоящее?

— Ваша округлость.

Йозефу Грюнлиху пришлось сделать вид, что он принимает это оскорбление за шутку, и он все улыбался и улыбался. Его уважение к себе было уязвлено какими-то двумя болванами, которых он больше никогда не увидит. Кому-то другому придется поплатиться за такое унижение, а он всегда гордился тем, что никогда не спускал обидчику; сейчас это больно его задело. Он отвел душу, попросив шофера по-немецки:

— А вы не можете их задавить?

И продолжал широко улыбаться солдатам и помахивать паспортом, пока те обсуждали что-то, оглядывая его с ног до головы. Потом они отступили, кивнули шоферу, и тот включил стартер. Машина переехала рельсы, спустилась с насыпи, затем медленно выбралась на длинную, с глубокими колеями, проселочную дорогу, и Йозеф Грюнлих, оглянувшись назад, увидел два красных огня, качающихся в темноте, словно бумажные фонарики.

— Что они от нас хотели?

— Кого-то искали, — ответил шофер.

Йозефу Грюнлиху это было хорошо известно. Разве не он убил Кольбера в Вене? Разве не он бежал всего час назад из Суботицы на глазах у охранника? Разве не он был сообразительным, ловким парнем, проворным и решительным? Они перекрыли машинам все пути, а он все равно сумел ускользнуть. Но в глубине души у него все же гнездились легкие сомнения: если бы они искали его, то и задержали бы. Они разыскивали кого-то другого. Считали кого-то другого более важным преступником. Распространяли описание старого копуши доктора, а не Йозефа Грюнлиха, а ведь он убил Кольбера, да еще всегда хвастался:

«За пять лет ни разу не сел». Большая скорость уже не пугала его. Когда они неслись сквозь мрак в старой скрипучей машине, он тихо сидел и мрачно размышлял над тем, как все в жизни несправедливо.

Корал Маскер проснулась с каким-то странным чувством и не сразу поняла, где находится. Она села, и мешок с зерном заскрипел под ней. Это был единственный звук; шепот снегопада прекратился. Корал со страхом прислушалась и поняла, что осталась одна. Доктор Циннер умер; она уже больше не слышала его дыхания. Откуда-то издалека, сквозь сумерки, до нее донесся звук мотора, меняющего скорость. Звук касался ее, словно это был сочувствующий ей пес; казалось, он ласкается к ней и обнюхивает ее. «Раз доктор Циннер умер, ничто меня здесь не удерживает. Я пойду поищу машину. Если там солдаты, они ничего мне не сделают, а может быть, это...» Страстное желание не позволило ей закончить фразу, напоминающую раскрытый клюв голодной птицы. Она оперлась на руку, чтобы удержать равновесие, стала на колени и дотронулась до лица доктора. Он не пошевелился, и хотя лицо было еще теплое, она на ощупь почувствовала, что вокруг рта у него запеклась кровь, словно старая сухая кожа. Она вскрикнула, но тут же стала спокойной и сосредоточенной, нашла спички, зажгла жгут из газеты. Однако рука ее дрожала. Нервы сдавали под тяжестью свалившихся на нее бед, хотя она и сдерживалась. Ей казалось, что всю прошлую неделю она должна была что-то решать, бояться чего-нибудь, скрывая страх. «Взять хотя бы эту работу в Константинополе. Ехать туда или отказаться? У агента ждет целая толпа девушек». Она вспоминала Майетта, сующего ей в сумку билет, квартирную хозяйку с ее советами, страх перед неизвестностью, вдруг охвативший ее на причале в Остенде, когда пассажирский помощник кричал ей вслед, чтобы она не забывала его.

При свете горящего жгута ее снова поразил все понимающий взгляд доктора. Но понимание это застыло, оно навсегда останется неизменным. Она отвела глаза, потом взглянула опять, но ничего не изменилось. «Я не предполагала, что он так плох. Мне нельзя здесь оставаться». Она даже подумала, не обвинят ли ее в его смерти. Эти чужеземцы, с непонятным для нее языком, способны на все. Но из какого-то странного любопытства она медлила, пока не догорел жгут. «Была ли у него когда-нибудь девушка?» От этой ее мысли он потерял внушительность и уже не был для нее устрашающим мертвецом. Она рассматривала его лицо пристальней, чем посмела бы когда-нибудь раньше. Непреклонность ушла от него вместе с жизнью. Она впервые заметила, что черты его лица были на удивление резкие; если бы лицо его не было таким худым, оно производило бы отталкивающее впечатление; вероятно, только озабоченность и скудное питание придали его лицу глубокомыслие и известную одухотворенность. Даже на смертном одре, при дрожащем голубом пламени газетного жгута, лицо его казалось крайне серьезным. «Наверное, в отличие от большинства мужчин, у него никогда не было девушки. Если бы он был близок с женщиной, которая немного подсмеивалась бы над ним, он не лежал бы сейчас здесь, не принимал бы в жизни все так близко к сердцу, научился бы не раздражаться, позволил бы событиям идти своим чередом — только так и нужно было жить». Она дотронулась до его длинных усов. Они были смешные, они были трогательные, и поэтому внешность его никогда не казалась трагичной. Потом жгут догорел, и для нее доктор был уже похоронен, — от всего, что она могла прочитать на его лице, а затем и от всего, что она думала о нем, ее отвлек неясный шум приближающейся машины и чьих-то шагов. Значит, ее крик все-таки услышали.

Узкая полоска света проникла через неплотно закрытую дверь, слышались голоса, какая-то машина, тихонько ворча, ехала по дороге. Шаги стали удаляться, где-то открылась дверь, и сквозь тонкие стенки сарая она услышала, как кто-то ходит между мешками в соседнем помещении; засопела собака. Ей вспомнились плоские, однообразные, скучные поля близ Ноттингема, воскресенье, маленькая компания шахтеров, с которыми она когда-то пошла охотиться на крыс, собака по имени Спот. Собака то входила в амбары, то выходила из них, пока они все стояли кружком, вооруженные палками. Сейчас снаружи о чем-то спорили, но

она не могла узнать ни одного знакомого голоса. Машина остановилась, хотя мотор продолжал тихо работать.

Затем дверь сарая открылась, и свет прыгнул вверх на мешки. Она приподнялась на локте и увидела сквозь щель в своей баррикаде бледного офицера в пенсне и того солдата, который стоял на страже у дверей зала ожидания. Они направились к ней, и тут ее нервы сдали: она не могла выдержать тех томительных минут, пока они будут ее искать. Они стояли вполоборота к ней, и, когда она вскочила и крикнула: «Я здесь!» — офицер прыгнул в ее сторону, выхватив револьвер. Потом он увидел, кто это, и задал ей какой-то вопрос, застыв посреди сарая с направленным на нее револьвером. Корал показалось, что она поняла его, и она сказала:

— Он умер.

Офицер отдал приказ — солдат подошел и начал медленно оттаскивать мешки. Это был тот самый солдат, который остановил ее на пути к вагону-ресторану, и какой-то момент она ненавидела его, пока он не поднял голову и не улыбнулся ей застенчивой извиняющейся улыбкой, в то время как офицер, стоя сзади, подгонял его резкими нетерпеливыми приказаниями. Внезапно, когда солдат оттаскивал от выхода из пещеры последний мешок, их лица почти столкнулись, и в эту секунду у нее возникло такое чувство, будто он сообщит ей какую-то тайну.

Когда майор Петкович увидел, что доктор лежит неподвижно, он пересек сарай и прямо направил фонарь на его мертвое лицо. Длинные усы посветлели от сильного луча, а открытые глаза отразили его, словно металлические пластинки. Майор протянул револьвер солдату. Добродушие, остатки неприхотливого благополучия, которые скрывались за бедностью, распались в прах. Казалось, все полы в каком-то доме провалились, только стены продолжали стоять. Солдата охватил ужас, он не в силах был произнести ни слова, не мог пошевелиться; револьвер так и остался на ладони майора. Майор Петкович не вышел из себя; он упорно смотрел на солдата, с любопытством разглядывая его сквозь золотое пенсне. Майор досконально знал все чувства людей, живущих в казармах; кроме потрепанных книг по германской стратегии на его полках стояло несколько томов, посвященных психологии; он, как исповедник, знал своих солдат во всех интимных подробностях. Знал, насколько они жестоки, насколько добры, насколько хитры или простодушны, знал, какие у них развлечения — ракия, игра в карты и женщины, знал их честолюбивые мечты, хотя они, возможно, сводились к тому, чтобы рассказать жене захватывающую или трогательную историю. Он знал лучше всех, какое наказание применить к какому человеку и как сломить волю подчиненного. Раньше его раздражало, что солдат медленно оттаскивает мешки, но теперь раздражение прошло; он оставил револьвер у себя на ладони и совершенно спокойно повторил приказ, глядя сквозь золотую оправу пенсне.

Солдат опустил голову, вытер рукой нос и, болезненно сморщившись, покосился на другой конец сарая. Затем взял револьвер и приложил его ко рту доктора Циннера. Потом снова заколебался, положил руку на плечо Корал и рывком повернул ее лицом вниз; лежа на полу, она услышала выстрел. Солдат спас ее от этого зрелища, но ее воображение дополнило все. Она вскочила и побежала к двери, на бегу ее заташнило. Она надеялась, что в темноте ей станет легче, но тут же, словно удар по голове, на нее обрушился свет от фар машины. Прислонившись к двери, она пыталась успокоиться, чувствуя себя бесконечно более одинокой, чем в те минуты, когда проснулась и увидела, что доктор Циннер умер; она отчаянно, до боли, желала быть сейчас с Майеттом. Люди все еще спорили возле машины, в воздухе стоял легкий запах спиртного.

— Черт возьми... — произнес чей-то голос.

Кучка людей расступилась, и среди них появилась мисс Уоррен. Лицо у нее было багровое,

возбужденное и торжествующее. Она схватила Корал. за руку:

— Что тут происходит? Нет, не рассказывайте сейчас. Вам нехорошо. Вы немедленно уйдете со мной от всего этого.

Между ней и машиной стояли солдаты: из сарая вышел офицер и присоединился к ним. Мисс Уоррен быстро шепнула:

— Обещайте все, что угодно. Неважно, что вы скажете.

Она положила большую руку на рукав офицера и начала в чем-то убеждать его заискивающим тоном. Он пытался прервать ее, но она его перебивала. Он снял пенсне и растерянно протер его. Угрозы были бы бесполезны, можно было протестовать всю ночь, но она предлагала ему единственный довод, отказаться от которого противоречило бы его натуре: здравый смысл. А кроме предлагаемого ею разумного поступка она советовала ему принять во внимание и другое, более важное обстоятельство — высшие дипломатические соображения. Он снова протер пенсне, кивнул и сдался. Мисс Уоррен схватила его руку и крепко пожала ее, глубоко вдавив в его согнувшийся от боли палец свое кольцо-печатку.

Корал соскользнула на землю. Мисс Уоррен дотронулась до нее, но девушка попыталась стряхнуть ее руку. Шум стих, земля в молчании наплывала на нее. Откуда-то издали чей-то голос произнес: «У вас плохое сердце», и она опять открыла глаза, ожидая увидеть возле себя морщинистое лицо доктора. Но оказалось, что она лежит на заднем сиденье машины и мисс Уоррен укрывает ее пледом. Она налила рюмку коньяка и поднесла ее ко рту Корал. Машина, тронувшись с места, толкнула их друг к другу, коньяк расплескался по ее подбородку; Корал улыбнулась раскрасневшейся, довольно пьяной физиономии, заботливо глядевшей на нее.

— Послушайте, милочка, сначала я возьму вас с собой в Вену. Я могу телеграфировать эту корреспонденцию оттуда. Если какой-нибудь паршивый подлец попытается подкупить вас, ничего не отвечайте. Не открывайте рот даже для того, чтобы сказать «нет».

Слова эти были непонятны для Корал. Она чувствовала боль в груди. Видела, как исчезают огни станции, когда машина повернула назад к Вене, и с упрямой верностью старалась угадать, где сейчас Майетт. От боли ей трудно было дышать, но она решила не произносить ни слова. Говорить, описывать свою боль, просить о помощи значило бы на какое-то время прогнать из головы его лицо, ее уши перестали бы слышать его голос, шептавший ей о том, что они будут делать вместе в Константинополе. «Я не забуду его первая», — упрямо думала она, отгоняя наплывавшие видения: алый отблеск машины, несущейся по темной дороге, взгляд доктора Циннера при свете горящего жгута. Наконец отчаянная борьба с болью, с удушьем, с желанием кричать, с помутившимся сознанием отняли у нее даже те видения, которые она старалась прогнать.

«Я помню, я не забыла». Но она не могла удержаться и один раз застонала. Стон был такой слабый, что стук мотора заглушил его. Он не достиг ушей мисс Уоррен, так же как и повторенные вслед за ним шепотом слова: «Я не забыла».

— Только для нашей газеты, — сказала мисс Уоррен, барабаня пальцами по пледу. — Я хочу, чтобы это было опубликовано только у нас. Это мой материал, — заявила она с гордостью, лелея где-то в глубине души, за заголовками и за свинцовым типографским шрифтом, мечту о Корал в пижаме, наливающей кофе, Корал в пижаме, смешивающей коктейль, Корал, спящей в отремонтированной и помолодевшей квартире.

ЧАСТЬ V.

— Алло, алло. Мистер Карлтон Майетт уже приехал?

Маленький юркий армянин с цветком в петлице ответил на таком же аккуратном и хорошо подогнанном английском языке, как и его визитка:

— Нет. К сожалению, нет. Что-нибудь передать?

— Поезд, конечно, прибыл?

— Нет. Опаздывает на три часа. Кажется, паровоз вышел из строя около Белграда.

— Скажите ему, что мистер Джойс...

— А теперь, что мне посоветовать вам обеим, леди, на сегодня после полудня? — сказал юркий армянин, занимающийся прибывшими, перегнувшись через барьер и доверительно обращаясь к двум молодым американкам, которые восхищенно смотрели на него полуоткрыв рот и подняв красиво выщипанные брови. — Вам нужно было бы взять гида, он показал бы вам базары.

— Может быть, вы, мистер Калебджян? — произнесли они почти в один голос; их большие, полные любопытства наивные глаза следили за ним, пока он поворачивался, направляясь к телефону.

— Алло, алло. Международный персональный вызов? Хорошо. Нет, мистер Карлтон Майетт еще не приехал. Мы ждем его с минуты на минуту. Что-нибудь передать? Вы снова позвоните в шесть. Спасибо. Ах, если бы я мог, — сказал он американкам, — я бы с огромным удовольствием. Но мои обязанности держат меня здесь. Правда, у меня есть троюродный брат, мы договоримся, он встретится с вами тут завтра утром и свезет вас на базары. А сегодня после полудня советую вам взять такси до Голубой мечети и проехать через Ипподром, а потом посетить Римские колодцы. Затем, если вы выпьете чаю в русском ресторане в «Пера» и вернетесь сюда к ужину, я посоветовал бы вам вечером пойти в театр. А теперь, если это вас устраивает, я закажу вам такси из надежного гаража на вторую половину дня.

Обе одновременно открыли рот и сказали:

— Это будет шикарно, мистер Калебджян. — И, пока он звонил в гараж своему троюродному брату в Пера, они подошли через холл к грязному ларьку со сладостями и стали раздумывать, не купить ли ему коробку конфет.

Большой ослепительный отель с кафельными полами, с интернациональным обслуживающим персоналом и с рестораном, отделанным в стиле Голубой мечети, был построен еще до войны; теперь, когда правительство уехало в Анкару, а Константинополь ощущал соперничество Пирей, репутация отеля во всем мире стала хуже. Персонал урезали, и можно было бродить по большому пустому холлу, не встретив ни одного рассыльного, да и звонки упорно не звонили. Но в бюро обслуживания, как всегда, элегантный Калебджян не поддавался общему упадку.

— Мистер Карлтон Майетт приехал, Калебджян?

— Нет, поезд опаздывает. Может быть, подождете?

— А у него номер с гостиной?

— О, конечно! Рассыльный, проводи господина в номер мистера Майетта.

— Передайте ему мою визитную карточку, когда он приедет.

Американки решили не дарить Каледбджяну коробку с турецкими сладостями, но он был такой любезный и милый, что им хотелось чем-нибудь отблагодарить его. Они стояли раздумывая, пока он неожиданно не появился возле них.

— Ваше такси прибыло, леди. Я дам шоферу все указания, вы увидите, он в высшей степени надежный.

Каледбджян проводил их на улицу и проследил, чтобы они благополучно отбыли. Неторопливое уличное движение и суета, подобная оседающей всюду пыли, не утихали; Каледбджян вернулся в безмолвный холл. На миг отель показался ему почти таким же, как в былые времена в разгар сезона.

В течение четверти часа никто не появлялся; ранняя муха, захваченная холодом, умирая, с шумом билась об оконное стекло. Каледбджян позвонил наверх, в комнату экономки, проверить, включено ли в номерах отопление, потом сел, сжав руки между коленями, ни о чем не думая и ничего не делая.

Вращающиеся двери завертелись — вошла группа людей. Майетт появился первым. Джанет Пардоу и Сейвори следовали за ним; три носильщика несли багаж. Майетт блаженствовал. Он чувствовал себя в своей стихии, международный отель, хоть и сильно поблекший, был привычный для него оазис. Кошмар в Суботице потускнел и стал призрачным, когда он увидел, что Каледбджян спешит к нему навстречу. Он был доволен, что Джанет Пардоу видит, как его принимают в лучших заморских отелях.

— Как поживаете, мистер Карлтон Майетт? Мы бесконечно счастливы.

Каледбджян пожал Майетту руку, низко поклонился, его ослепительно белые зубы сверкали неподдельным удовольствием.

— Рад видеть вас, Каледбджян. Управляющий, как всегда, отсутствует? Это мои друзья, мисс Пардоу и мистер Сейвори. Весь отель держится на Каледбджяне, — объяснил он им. — Вы нас удобно устроите? Проследите, чтобы в комнате мисс Пардоу была коробка сладостей.

— Меня встречает дядя... — неуверенно начала Джанет Пардоу, но Майетт отверг ее возражения:

— Может и подождать один день. Сегодня вечером вы будете здесь моей гостьей.

Он снова начал распускать павлиний хвост, черпая уверенность в пальмах, колоннах и в почтительности Каледбджяна.

— Вам дважды звонили, мистер Карлтон Майетт, и какой-то джентльмен ожидает вас в вашем номере.

— Хорошо. Дайте мне его карточку. Позаботьтесь о моих друзьях. У меня мой обычный номер?

Он быстро прошел к лифту, растянув губы в веселую улыбку. Ведь за последние дни случилось слишком много такого, что вызывало сомнения и было трудно понять, а теперь он снова занялся своим делом. «Наверное, это Экман», — подумал он, не дав себе труда посмотреть на карточку, и вдруг твердо решил, что он ему скажет. Лифт тяжело поднялся на второй этаж, посыльный повел Майетта по пыльному коридору и отворил дверь. Солнце заливало комнату, в открытое окно до него доносились гудки автомобилей. С дивана

поднялся приземистый блондин в твидовом костюме.

— Мистер Карлтон Майетт? — спросил он.

Майетт удивился. Он никогда не видел этого человека. Посмотрев на визитную карточку, он прочел: «Мистер Лео Стейн».

— А, мистер Стейн.

— Удивились, увидев меня? Надеюсь, вы не считаете меня совсем уж безрассудным?

Он казался очень добродушным и сердечным. «Совсем как истый англичанин», — подумал Майетт, но незнакомца выдавал нос, нос со шрамом, ставший прямым после операции.

Враждебность между евреем, не скрывающим своей национальности, и евреем, маскирующим ее, сразу же выразилась в обворожительных улыбках, сердечных рукопожатиях, в отведенных друг от друга глазах.

— Я ожидал увидеть нашего агента.

— Ах, бедный Экман, бедный Экман, — вздохнул Стейн, покачав белокурой головой.

— Что вы имеете в виду?

— То, зачем я пришел. Попросить вас пойти повидать миссис Экман. Я очень беспокоюсь за нее.

— Вы хотите сказать, он умер?

— Исчез. Не вернулся домой вчера вечером. Очень странно.

Было холодно. Майетт закрыл окно и, засунув руки в карманы шубы, зашагал взад и вперед по комнате: три шага в одну сторону, три в другую.

— Ничего удивительного. Думаю, он не смог бы держать ответ передо мной, — медленно произнес он.

— Несколько дней назад он признался мне, что чувствует ваше недоверие к нему. Он был обижен, очень обижен.

— Я никогда не доверяю еврею, ставшему христианином. — медленно, тщательно подбирая слова, сказал Майетт.

— Ну, послушайте, мистер Майетт, ведь это несколько категорично, — возразил Стейн, испытывая некоторую неловкость.

— Допускаю, что, может быть, он в своих переговорах пошел дальше, чем поставил меня в известность, — сказал Майетт, остановившись посреди комнаты спиной к Стейну, но так, что ему была видна вся фигура Стейна, до колен отраженная в зеркале с позолоченной рамой.

— О, переговоры, — отражение Стейна в зеркале было не столь невозмутимым, как его голос, — они ведь закончены.

— Он сообщил вам, что мы не будем покупать?

— Но он купил.

Майетт кивнул. Он не удивился. За исчезновением Экмана должно было скрываться многое.

— Я в самом деле беспокоюсь о бедном Экмане. Мысль, что он, возможно, покончил с собой, для меня невыносима, — медленно сказал Стейн.

— Думаю, вам не надо беспокоиться. Наверно, он просто ушел от дел. Немного слишком поспешно.

— Понимаете, он был встревожен.

— Встревожен?

— Ну, у него появилось такое чувство, что вы ему не доверяете. А потом, у него не было детей. Он очень хотел детей. Много поводов для тревог. Надо быть милосердным.

— Но я же не христианин, мистер Стейн. Я не верю, что милосердие — основная добродетель. Могу я взглянуть на документ, который он подписал?

— Конечно.

Мистер Стейн вытащил из кармана твидового пиджака длинный конверт, сложенный пополам. Майетт сел за стол, разложил на нем листы и стал внимательно читать. Он не делал никаких замечаний, лицо его ничего не выражало. Трудно было представить, как он был счастлив, вернувшись к цифрам, — в них он разбирался, и они не испытывали никаких чувств. Окончив чтение, он откинулся на спинку стула и стал разглядывать ногти; перед выездом из Лондона он сделал маникюр, но они уже снова требовали к себе внимания.

— Как прошло ваше путешествие? Надеюсь, беспорядки в Белграде вас не коснулись? — спокойно спросил Стейн.

— Нет, — рассеянно ответил Майетт.

Это была правда. Все то непонятное, что произошло в Суботице, казалось ему нереальным. Очень скоро он обо всем забудет, — ведь все это не связано с обычной жизнью, да и необъяснимо.

— Вы, конечно, понимаете, что мы можем найти лазейку и расторгнуть это соглашение?

— Не думаю. Бедняга Экман был вашим доверенным лицом. Вы дали ему право вести переговоры.

— Он не получал полномочий подписывать соглашение. Нет, мистер Стейн, боюсь, вам от этого не будет никакой пользы.

Стейн сел на диван и скрестил ноги. От его твидового костюма пахло трубочным табаком.

— Я не хочу вам ничего навязывать. Мой девиз: никогда не подводить своего собрата дельца. Я бы тут же расторгнул соглашение, мистер Майетт, если бы это было справедливо. Но, видите ли, раз уж бедняга Экман подписал этот документ, фирма Моулта отказалась от переговоров. Теперь они уже не повторят свое предложение.

— Но мне-то известно, насколько Моулты заинтересованы в изюме.

— Ну, видите ли, при таких обстоятельствах, скажу вам по-дружески, мистер Майетт: если вы расторгнете это соглашение, мне придется за него побороться. Можно закурить?

— Возьмите сигару.

— А можно, я закурю трубку?

Он начал набивать трубку светлым мягким табаком.

— Я полагаю, Экман получил за это комиссионные?

— Ах, бедняга Экман! Я и вправду хотел бы, чтобы вы навестили миссис Экман. Она очень обеспокоена, — неопределенно ответил Стейн.

— Ей нечего беспокоиться, если он получил достаточно крупные комиссионные.

Стейн улыбнулся и закурил трубку. Майетт стал перечитывать соглашение. Действительно, его можно было расторгнуть, но суды — дело неверное. Хороший адвокат может доставить массу неприятностей. Некоторые цифры не хотелось бы опубликовывать. В конце концов, дело Стейна представляло известную ценность для фирмы. Но ему не нравилась цена и то, что пост директора оставался за Стейном. Даже с ценой можно было смириться, но Майетт не хотел вторжения постороннего в семейную фирму.

— Вот что я сделаю. Мы разорвем это и сделаем вам новое предложение.

Стейн покачал головой:

— Послушайте, мистер Майетт, пожалуй, это будет не совсем справедливо по отношению ко мне?

Майетт решил, как поступить. Не стоит тревожить отца судебным процессом. Он примет соглашение при условии, если Стейн откажется от директорства. Но ему пока еще не хотелось раскрывать свои карты. Стейн мог заупрямиться.

— Не думайте об этом, мистер Стейн, отложите решение на денек.

— Ну хорошо. Но я сомневаюсь, будет ли у меня время подумать. Насколько я знаю современных девиц, то нет. Сегодня после полудня я встречаю здесь племянницу. Она ехала в вашем поезде от Кельна. Это дочь бедняги Пардоу, — весело сказал Стейн.

Майетт вынул портсигар и, пока выбирал и подрезал сигару, решил, что ему делать. Он уже начал презирать Стейна. Тот был слишком многословен и сообщал ненужные сведения. Неудивительно, что его дело пришло в упадок. В то же время смутное влечение Майетта к племяннице Стейна укреплялось. Узнав, что ее мать была еврейкой, он вдруг почувствовал в ней своего человека. Она становилась доступной, и он стыдился того, что прошлым вечером держался так натянуто. После его возвращения из Суботицы они ужинали вместе в поезде, и он все время старался вести себя как можно естественнее.

— О да, я встречал мисс Пардоу в поезде. Она сейчас здесь, внизу. Мы вместе ехали с вокзала, — медленно сказал он.

Настала очередь Стейна обдумывать слова. То, что он сообщал, имело скрытый смысл.

— Бедная девочка, у нее нет родителей. Жена решила, что мы должны пригласить ее пожить у нас. Я, видите ли, ее опекун.

Они сидели друг против друга, их разделял стол. На нем лежало соглашение, подписанное Экманом. Они не упоминали о нем; дело, казалось, было отложено в сторону, но и Стейн и Майетт сознавали, что их спор остался нерешенным. Каждый угадывал мысли другого, но оба выражались намеками.

— Ваша сестра, наверное, была прелестной женщиной.

— Она унаследовала внешность отца.

Ни один из них не признавался, что имел в виду красоту Джанет Пардоу. Даже об ее бабушке и бабушке упомянули прежде, чем о ней.

— Ваша семья из Лейпцига? — спросил Майетт.

— Правильно. Но мой отец перевел наше дело сюда.

— Вы считаете это ошибкой?

— Ну, послушайте, мистер Майетт, вы же видели цифры. Дела шли не так уж плохо. Но я хочу продать фирму и уйти на покой, пока еще могу наслаждаться жизнью.

— Что вы имеете в виду? Как наслаждаться жизнью? — с любопытством спросил Майетт.

— Ну, я не очень интересуюсь делами.

— Не интересуетесь делами? — изумленно повторил Майетт.

— Гольф и небольшой загородный домик — вот о чем я мечтаю.

Изумление Майетта прошло, и он опять заметил, что Стейн выбалтывает слишком много сведений о себе. Экспансивность Стейна была ему на руку, он снова вернулся к разговору о соглашении.

— Тогда зачем вам нужно быть директором? Думаю, мы могли бы столкнуться с вами в вопросе о деньгах, если бы вы отказались от директорства.

— Мне-то неважно, быть директором или нет, — объяснил Стейн, попыхивая трубкой в промежутках между фразами и искоса поглядывая на все удлиняющийся пепел сигары Майетта. — Но, знаете ли, ради соблюдения традиции мне хочется, чтобы кто-нибудь из членов моей семьи входил в правление. — Он долго и простодушно хихикал. — А у меня нет сына. Нет даже и племянника.

— Вам надо вдохновить на это племянницу, — задумчиво сказал Майетт.

Оба засмеялись, а потом спустились вниз. Джанет Пардоу нигде не было видно.

— Мисс Пардоу ушла? — спросил он у Калебджяна.

— Нет, мистер Майетт. Мисс Пардоу только что прошла в ресторан с мистером Сейвори.

— Попросите их подождать с завтраком двадцать минут, и мы с мистером Стейном присоединимся к ним.

Они слегка поспорили о том, кому первому пройти через вращающуюся дверь; дружба между Майеттом и Стейном быстро крепла.

Когда они сидели в такси на пути к квартире миссис Экман, Стейн начал разговор:

— А этот Сейвори, кто он?

— Просто писатель.

— Он что, ухаживает за Джанет?

— Дружески расположен. Они познакомились в поезде. — Майетт сложил руки на коленях и сидел молча, серьезно обдумывая вопрос о женитьбе. «Она прелестная, утонченная, может стать хорошей хозяйкой дома, она полуеврейка», — думал он.

— Я ее опекун, — продолжал Стейн. — Может быть, мне с ним поговорить?

— Он очень состоятельный.

— Да, но он писатель. Мне это не нравится. У них все зависит от удачи. Я бы хотел, чтобы она вышла за человека, занимающего надежное положение в деловом мире.

— Кажется, их познакомила та женщина, с которой она жила в Кельне.

— О да. Она сама зарабатывала себе на жизнь с тех пор, как умерли ее несчастные родители, — смущенно сказал Стейн. — Я в это не вмешивался. Это полезно для девушки, но жена решила, что мы должны узнать ее поближе, и я пригласил ее сюда. Подумали, может, мы найдем ей работу получше и недалеко от нас.

Они обогнули миниатюрного полицейского, который стоял на ящике и регулировал движение транспорта, и поднялись на холм. Внизу между высоким непримечательным жилым домом и телеграфным столбом купола Голубой мечети плавали в воздухе, словно пучок лазурных Мыльных пузырей.

Стейн все еще испытывал некоторую неловкость.

— Это полезно для девушки, — повторил он. — И в последние годы фирма отнимала у меня все мое время. Но когда с этой продажей будет покончено, — весело добавил он, — я назначу ей кое-какую ренту.

Такси въехало в маленький темный дворик, где стояла одинокая урна для мусора, но длинную лестницу, по которой они поднялись, освещали большие окна, и весь Стамбул словно вздымался перед ними. Им были видны собор Святой Софии, и Пожарная каланча, и длинная полоса воды к западу от Золотого Рога по направлению к Эйюбу.

— Замечательное место. Лучшей квартиры в Константинополе не найти, — сказал Стейн и нажал кнопку звонка.

А Майетт прикидывал, какова ее стоимость и сколько их фирма вкладывала в оплату вида из квартиры Экмана.

Дверь отворилась. Стейн не считал нужным назвать свое имя горничной, и они пошли по светлomu, обшитому панелями коридору, который ловил в капкан между окнами солнце, словно какого-то рыжего зверя.

— Вы друг семьи?

— Да, мы с беднягой Экманом в последнее время были в самых близких отношениях, — сказал Стейн, широко раскрывая дверь в большую холодную гостиную, где рояль, букет цветов и несколько металлических стульев словно плавали в весеннем бледно-желтом воздухе.

— Ну вот, Эмма, я привел к вам мистера Карлтона Майетта, он хотел навестить вас.

В комнате не было темных углов, негде было укрыться от потока мягкого щедрого света, и миссис Экман не нашла ничего лучшего, как спрятаться за рояль, который простирался между ними, словно полированный пол. Она была маленькая, седая и модно одетая, но ее одежда не шла к ней. Она напомнила Майетту горничную в их доме, носившую платья, отданные ей хозяйкой. Под мышкой у нее было какое-то шитье. Она тонким голосом приветствовала гостей, не сходя с того места, где стояла, словно не решаясь выйти на залитый солнечным светом пол.

— Ну как, Эмма, есть у вас известия от мужа?

— Нет. Нет еще. Нет, — ответила она и добавила с несчастной улыбкой. — Он так не любит писать.

Она предложила им сесть и начала прятать иголки, нитки, клубки шерсти и куски фланели в большой мешок для рукоделия. Стейн неуверенно поглядывал то на один, то на другой металлический стул.

— Не могу понять, зачем бедняга Экман купил всю эту дрянь, — шепнул он Майетту.

— Вам не следует беспокоиться, миссис Экман. Я убежден, что сегодня ваш муж даст о себе знать, — сказал Майетт.

Она прекратила складывать рукоделие и стала следить за губами Майетта.

— Да, Эмма, как только бедняга Экман узнает, как хорошо мы поладили с мистером Майеттом, он поторопится домой.

— О, пусть он даже не вернется сюда, — с отчаянием прошептала миссис Экман из своего угла, удаленного от сияющего пола. — Я бы поехала к нему куда угодно. Разве это дом! — взволнованно воскликнула она, махнув рукой и уронив иголку и две перламутровые пуговицы.

— Да, согласен, — заметил Стейн и глубоко вздохнул. — Не понимаю, почему вашему мужу нравится вся эта металлическая дрянь. Я бы предпочел несколько вещей красного дерева и пару кресел, в которых человек может вздремнуть.

— Но у моего мужа очень хороший вкус, — с отчаянием прошептала миссис Экман; она смотрела из-под модной шляпки, словно мышь, заблудившаяся в шкафу.

— Так вот, я убежден, что вам совсем не к чему беспокоиться о муже. Он расстроился из-за дел — вот и все. Нет никаких поводов думать, что он... что с ним что-нибудь случилось, — нетерпеливо вмешался Майетт.

Миссис Экман выскользнула из-за рояля и прошла по комнате, взволнованно ломая руки.

— Я не этого боюсь, — сказала она, встав между ними, а затем повернулась и быстро пошла обратно в свой угол.

Майетт был поражен.

— А чего же вы тогда боитесь?

Она мотнула головой, указав на светлую комнату с металлической мебелью.

— Мой муж такой современный, — сказала она со страхом и гордостью. Потом гордость покинула ее, и, спрятав руки в корзинку для рукоделия, полную пуговиц и клубков шерсти, она продолжала: — Может быть, он не захочет вернуться за мной.

— Итак, что вы об этом думаете? — спросил Стейн, когда они спускались по лестнице.

— Бедная женщина.

— Да, да, бедная женщина, — повторил Стейн с непритворно взволнованным видом и поднес к носу платок.

Ему хотелось есть, но Майетту надо было еще кое-что сделать до завтрака, а Стейн не

отставал от него. Он чувствовал, что в каждом такси, в котором они ехали, их близость крепла, и совершенно независимо от их планов относительно Джанет Пардоу, близость с Майеттом могла принести Стейну несколько тысяч фунтов в год. Такси с грохотом спустилось по мощеной булыжником улице и выехало на забитую народом площадь у главного почтамта, а потом вниз по холму снова к Галате и к докам. По грязной лестнице они поднялись в маленькую контору, набитую картотеками и папками для документов, с единственным окном, выходящим на глухую стену и торчащую за ней пароходную трубу. На подоконнике лежал толстый слой пыли. В этой комнате Экман вел дела, в результате чего появилась его большая холодная гостиная. Это было подобно тому, как пожилая еврейка производит на свет своего последнего ребенка, а тот оказывается замечательным художником. Напольные часы, вместе с письменным столом занимавшие большую часть оставшегося места, пробили два раза, но Джойс был уже здесь. Машинистка ускользнула в нечто похожее на шкафчик для хранения багажа в глубине комнаты.

— Есть известия от Экмана?

— Нет, сэр, — ответил Джойс.

Майетт просмотрел несколько писем, а затем оставил Джойса, как верного пса, приняв у себя к письменному столу Экмана и к его грехам.

— А теперь завтрак, — предложил Майетт. Стейн облизал губы. — Проголодались?

— Я рано ел утром, — ответил Стейн без упрёка в голосе.

Но Джанет Пардоу и Сейвори не стали их дожидаться. Они уже пили кофе с ликером в выложенном плитками ресторане, когда вновь пришедшие присоединились к ним и начали громко радоваться тому, что Майетт и племянница Стейна встретились в поезде и стали друзьями. Джанет Пардоу помолчала, она безмятежно посмотрела на Стейна и улыбнулась Майетту. Ему показалось, что она хотела сказать: «Как мало он о нас знает», и он улыбнулся ей в ответ, прежде чем вспомнил, что знать-то, собственно, нечего.

— Значит, вы двое составляли друг другу компанию всю дорогу от Кёльна, — сказал Стейн.

— Ну, я думаю, ваша племянница больше виделась со мной, — вмешался в разговор Сейвори.

Но Стейн продолжал, не обращая на него внимания:

— Хорошо узнали друг друга, а?

Джанет Пардоу слегка раскрыла мягко очерченные губы и тихонько сказала:

— О, у мистера Майетта была другая подружка, он знал ее лучше, чем меня.

Майетт отвернулся, чтобы заказать завтрак, а когда снова стал прислушиваться к ее словам, она говорила с прелестным нежным лукавством:

— О, знаете ли, она была его любовницей.

Стейн добродушно рассмеялся.

— Вот шалун! Посмотрите на него, он покраснел.

— Представляете себе, она ведь от него убежала, — продолжала Джанет Пардоу.

— Убежала? Он что, бил ее?

— Ну, если вы его спросите, он постарается окутать это тайной. Когда паровоз сломался, он поехал на машине назад до предыдущей станции и там искал ее. Отсутствовал целую вечность. А уж какую тайну из этого сделал! Он помог кому-то сбежать от таможенников.

— Ну а девушка? — спросил Стейн, игриво поглядывая на Майетта.

— Она убежала с доктором, — вставил Сейвори.

— Он ни за что не признается в этом, — сказала Джанет Пардоу, кивнув в сторону Майетта.

— Да, я в самом деле из-за этого чувствую себя немного неловко, — согласился Майетт. — Позвоню консулу в Белград.

— Позвоните своей бабушке! — весело воскликнул Сейвори и беспокойно посмотрел на того и на другого.

У него была такая привычка: если он вполне доверял своим собеседникам, то выдавал какое-нибудь умиротворяющее просторечье — в прошлом это помогало ему за прилавком магазина и в общежитии приказчиков. Он до сих пор порой упивался тем, что получил признание, что живет в лучшем отеле, разговаривает на равных с людьми, с которыми когда-то и не осмеливался общаться, разве что через прилавок поверх рулонов шелка или груды оберточной бумаги. Важные дамы, приглашавшие его на свои литературные вечера, приходили в восторг от его манеры выражаться. Какой смысл было разыгрывать роль писателя, возвысившегося от торгового прилавка, если не сохранять чуть заметных черт своих предков, не напоминать, что когда-то проводил распродажи?

Стейн сердито посмотрел на него.

— Думаю, вы совершенно правильно поступите, — сказал он Майетту.

Сейвори сконфузился. Эти люди принадлежали к тому меньшинству, которое никогда не читало его книг, не знало, что он претендует на внимание к себе. Они просто считали его вульгарным. Он сел поглубже в кресло и спросил Джанет Пардоу:

— А доктор? Разве ваша приятельница не интересовалась доктором?

Но Джанет видела, что остальные относятся к нему неодобрительно, и не захотела вспоминать длинную скучную историю, которую мисс Уоррен ей рассказала. Она резко оборвала его:

— Я не могу вести учет всех, кем интересовалась Мейбл. Ничего не помню об этом докторе.

Стейн был только против вульгарных выражений Сейвори. Ему очень нравилась легкая, в рамках приличий, болтовня о какой-то девушке. Она укрепляла важную для него дружбу с Майеттом. Когда первое блюдо было уже подано, он вернулся к этому разговору:

— А теперь расскажите нам поподробнее, что там замышлял мистер Майетт.

— Она очень хорошенькая, — сказала Джанет Пардоу, стараясь быть великодушной.

Сейвори взглянул на Майетта, не обиделся ли тот. Но Майетт был слишком голоден, он наслаждался своим поздним завтраком.

— Она подвизается на сцене, правда? — спросил его Стейн.

— Да. Варьете.

— Я же сказала, она из варьете, — заметила Джанет Пардоу. — Слегка простоватая. Вы ее и

раньше знали?

— Нет, нет, — поспешил ответить Майетт. — Чисто случайная встреча.

— Такое постоянно происходит в дальних поездах! — с облегчением воскликнул Стейн. — А дорого она вам стоила?

Он поймал взгляд племянницы и подмигнул ей. Когда она в ответ улыбнулась ему, он обрадовался. Как было бы скучно, окажись она одной из тех старомодных девиц, при которых нельзя говорить все, что хочешь; больше всего он любил легкие непристойности в обществе женщин, но, конечно, при условии, чтобы все было совершенно в рамках приличий. Он с неодобрением взглянул на Сейвори.

— Десять фунтов, — сказал Майетт, кивнув официанту.

— Ох, боже, как дорого! — воскликнула Джанет Пардоу и посмотрела на него с уважением.

— Я шучу, — ответил Майетт. — Я не давал ей никаких денег. Купил ей билет. Да и вообще мы просто подружились. Она хороший человек.

— Ха-ха, — засмеялся Стейн.

Майетт осушил свой бокал. По голубым плиткам к ним приближался официант со столиком на колесах.

— Здесь очень хорошо кормят, — заметил Сейвори.

Майетт наслаждался непринужденной атмосферой и легким ароматом разных блюд; в одном из соседних залов играли концерт Рахманинова. Можно было подумать, что находишься в Лондоне. Звуки музыки навевали воспоминания: люди высовывали головы из окон, они смеялись, разговаривали, зло подшучивая над скрипачом.

— Она была в меня влюблена, — задумчиво сказал Майетт.

Он никогда не предполагал, что произнесет эти слова вслух в пустом голубом ресторане, он был растерян и слегка потерян, когда понял, что громко произнес их; эти слова прозвучали хвастливо, а он совсем не хотел хвастаться, да и чем тут хвастаться, если тебя любит девушка из варьете. Он покраснел, когда все стали над ним подсмеиваться.

— Ах уж эти девушки, — сказал Стейн, покачивая головой. — Знают, как окрутить мужчину. Это все обаяние сцены. Помню, когда я был молодым парнем, часами ждал у артистического подъезда, чтобы только увидеть какую-нибудь потаскушку, танцевавшую в первом ряду. Шоколад. Ужины. — Он на мгновение остановился, увидев грудку дикой утки у себя на тарелке. А потом добавил: — Огни Лондона.

— Раз зашел разговор о театре, Джанет, хотите сегодня вечером сходить со мной куда-нибудь? — спросил Майетт.

Он назвал ее по имени, чувствуя себя с ней непринужденно после того, как узнал, что ее мать была еврейка, а дядя у него в руках.

— С удовольствием пошла бы, но я обещала мистеру Сейвори пообедать с ним.

— Мы могли бы пойти в ночное кабаре.

Но он не собирался позволять ей обедать с Сейвори. Весь день он был слишком занят и не мог побыть с ней; ему пришлось провести в конторе много часов, распутывая все дела,

которые Экман так искусно запутал; да еще нужно было нанести кое-кому визиты. В половине четвертого, проезжая на машине через Ипподром, он увидел, как окруженный детьми Сейвори фотографирует; он снимал быстро, успел три раза нажать грушу, пока такси проезжало мимо, и всякий раз дети потешались над ним. Только в половине седьмого Майетт вернулся в отель.

— Мисс Пардоу у себя, Каледбджян?

Каледбджян знал все, что происходило в отеле, Его полная осведомленность объяснялась только непоседливостью: он вдруг нырнул куда-то из пустынного холла, с шумом носился вверх и вниз по лестницам, проникал в отдаленные гостиные, а потом возвращался к своей конторке и сидел без дела, зажав руки между коленями.

— Мисс Пардоу переодевается к обеду, мистер Карлтон Майетт.

Однажды, когда один из членов правительства останавливался в отеле, Каледбджян огорошил дотошного сотрудника британского посольства, позвонившего по телефону: «Его превосходительство в уборной. Но он пробудет там еще не больше трех минут». Каледбджян рысцой бегал по коридорам, подслушивал у дверей ванн, затем возвращался к своей конторке, где ему нечего было делать, кроме как раскладывать в голове по полочкам крохи полученных сведений. В этом была вся жизнь Каледбджяна.

Майетт постучал в дверь номера Джанет Пардоу.

— Кто там?

— Можно войти?

— Дверь не заперта.

Джанет Пардоу почти кончила переодеваться. Ее вечернее платье лежало поперек кровати, а она сидела перед туалетом и пудрила себе руки.

— Вы и в самом деле собираетесь обедать с Сейвори?

— Так ведь я обещала!

— Мы могли бы пообедать в «Пера-Палас», а потом пойти в «Пти Шан».

— Вот было бы чудесно! — сказала Джанет Пардоу и принялась красить ресницы.

— Кто это? — Майетт указал на большую фотографию в складной рамке: женщина с квадратным лицом. Волосы круто завиты; фотограф попытался заретушировать резкие очертания ее подбородка.

— Это Мейбл. Она ехала со мной в поезде до Вены.

— Я вроде бы ее не видел.

— Теперь она коротко подстрижена. Это старая фотография. Мейбл не любит сниматься.

— Она выглядит мрачно.

— Я поставила здесь ее фото на случай, если стану гадко себя вести. Она пишет стихи. На обратной стороне написаны какие-то. По-моему, очень плохие. Я ничего не понимаю в поэзии.

— Можно я прочту?

— Конечно. Вам, наверное, кажется забавным, что кто-то посвящает мне стихи. — Джанет Пардоу посмотрелась в зеркало.

Майетт перевернул фотографию и прочел:

Стройна, скромна, но, как вода, прохладна

И недоступна, хоть и ненаглядна.

Русалка, знаю я твою беду.

Стремишься в море, а живешь в пруду.

Здесь затхлый омут, потерпи чуть-чуть.

Отправишься ты в море, в дальний путь.

— Оно нерифмованное. Или рифмованное? А все-таки, что оно означает?

— Я думаю, оно звучит как комплимент, — ответила Джанет Пардоу, полируя себе ногти.

Майетт сел на край кровати и стал рассматривать Джанет. «Что бы она сделала, если бы я попытался соблазнить ее?» — подумал он. Ответ он знал: она бы рассмеялась. Смех — лучшая защита целомудрия.

— Вы не будете обедать с Сейвори. У меня такие люди вызывают отвращение. Выскочка из-за прилавка.

— Дорогой, я же обещала. А кроме того, он ведь гений.

— Вы сейчас спуститесь со мной вниз, быстро сядете в такси и будете обедать в «Пера-Палас».

— Бедняга, он никогда не простит мне этого. А было бы забавно.

«Вот так-то, — подумал Майетт, поправляя черный галстук. — Все теперь просто, когда я знаю, что ее мать была еврейкой». Было так легко без умолку разговаривать с ней во время обеда и вести ее под руку, когда они шли пешком от «Пера-Палас» к «Пти Шан», расположенному возле английского посольства. Ночь была теплая, ветер утих; все столики в саду были заняты. Суботица стала еще более нереальной, когда он вспомнил, как снег бил ему в лицо. На сцене француженка в смокинге важно расхаживала с тростью под мышкой и пела песенку о «моей тетушке» — благодаря Спинелли эта песенка стала популярной в Париже лет пять тому назад. Турки смеялись и болтали, как горластые домашние птицы, потягивая кофе и качая маленькими, словно покрытыми перьями головами, а их жены, с одутловатыми тупыми лицами, лишь недавно освобожденные от чадры, сидели и молча глазели на певицу. Майетт и Джанет Пардоу шли вдоль сада в поисках свободного столика, пока француженка пронзительно кричала, смеялась и вышагивала, безнадежно предлагая свои непристойности безразличным и невеселым зрителям. Пера круто спускалась вниз, у их ног огни рыбацких лодок на Золотом Роге вспыхивали, как карманные фонарики; официанты сновали вокруг, подавая кофе.

— Вряд ли мы найдем столик. Придется войти вовнутрь театра.

Какой-то толстяк помахал им рукой и улыбнулся.

— Вы его знаете?

Майетт немного подумал и потом ответил:

— Да, кажется... Его фамилия Грюнлих.

Он ясно видел этого человека только дважды: один раз, когда тот влезал в машину, и второй раз, когда он вылезал из нее, намереваясь сесть в стоявший на станции освещенный поезд. Его воспоминания об этом человеке были смутны, казалось, он знал его когда-то ближе, но было это давно и в другой стране. Едва они миновали его столик, Майетт сразу забыл о нем.

— Вон там свободный столик.

Под столом их ноги коснулись одна другой. Француженка, качая бедрами, исчезла, а из-за кулис по сцене колесом прошелся мужчина. Он встал на ноги, снял шляпу и сказал что-то по-турецки, отчего все засмеялись.

— Что он сказал?

— Я не расслышал.

Мужчина бросил в воздух шляпу, поймал ее, поклонился, почти согнувшись пополам, и выкрикнул одно только слово. Все турки опять захохотали, и даже их жены с одутловатыми лицами заулыбались.

— Что он сказал?

— Это, должно быть, диалект. Я не понял.

— Я хотела бы что-нибудь трогательное. Слишком много выпила за обедом и стала сентиментальной.

— Здесь хорошо кормят, правда? — с гордостью сказал Майетт.

— Почему вы не останавливаетесь здесь? Говорят, это лучший отель.

— Ну, знаете, наш тоже очень хороший, и мне нравится Калебджян. Он всегда действует на меня успокаивающе.

— А все-таки, лучшая публика...

На сцене танцевала группа девушек в шортах и в гвардейских шапках. На шее у них висели свистки, но сидевшие за столиками турки не понимали значения всего — они не привыкли видеть гвардейцев в шортах.

— Думаю, это английские девушки, — сказал Майетт и вдруг наклонился вперед.

— Вы знакомы с кем-нибудь из них?

— Я думал... надеялся... — Но он, пожалуй, испугался при появлении «Девочек Данна». Корал не говорила ему, что собирается танцевать в «Пти Шан», но, скорее всего, она еще и сама этого не знала. Он вспомнил, как она, храбрыясь, растерянно вглядывалась в полную разных звуков темноту.

— Мне нравится «Пера-Палас».

— Да, я как-то здесь останавливался. Но со мной случилась одна неприятность. Поэтому я никогда больше тут не жил.

— Расскажите мне какая. Ну, не ломайтесь, расскажите же.

— Так вот. Со мной была подружка. Казалось, очень милое юное существо.

— Из варьете?

«Девочки Данна» запели:

Так волнует сердце, если молод,

Когда тебя бросает в жар и в холод.

— Нет, нет. Она была секретарем моего друга. Торговый флот.

— «Идите сюда, к нам. Идите сюда», — пели «девочки Данна». Несколько английских моряков, сидевших в конце сада, захолопали и закричали:

— Подождите нас. Мы идем.

Один моряк начал пробираться между столиками к сцене.

Что чувствуешь, скажи?

Но только честно!

В гостинице один,

А номер твой двухместный!

Моряк упал на спину, и все засмеялись: он был совершенно пьян.

— Это было ужасно, — продолжал Майетт. — Она вдруг помешалась около двух часов ночи. Кричала и била все вокруг себя. Ночной портье поднялся наверх, и все постояльцы вышли в коридор. Они подумали, я с ней что-то делал дурное.

— А вы делали?

— Нет. Я крепко спал. Это было ужасно. С тех пор я даже на одну ночь не останавливаюсь здесь.

«Идите сюда. Идите сюда».

— Какая она была?

— Я ничего не могу о ней вспомнить.

— Вы не представляете, как я устала жить с женщиной, — тихо произнесла Джанет Пардоу.

Их руки случайно встретились на столе и так и остались рядом. Волшебные фонарики, висевшие в кустах, отражались в ее ожерелье; в самом конце сада, за ее плечом, Майетт увидел Стейна, пробиравшегося между столиками с трубкой в руке. Это была массирующая

атака. Ему стоило лишь нагнуться к ней и предложить ей выйти за него замуж, и тогда будет устроена не только его семейная жизнь, но и нечто большее: он купит фирму Стейна за назначенную им цену, и тот будет удовлетворен, — ведь его племянница войдет в правление. Стейн подошел ближе и помахал трубкой; ему пришлось обойти лежащего на земле пьяницу, и во время этой минутной передышки у Майетта не возникло никакой мысли, которая шла бы вразрез с его будущей безмятежной оседлой жизнью. Он вспомнил Корал и их неожиданную странную встречу; тогда он думал, что все так же обычно, как дым сигареты, но ее лицо он помнил смутно, может быть потому, что в поезде было почти темно. Она была блондинка, она была тоненькая, но он не мог вспомнить черты ее лица. «Я сделал для нее все, что мог, — уверял он себя, — и, во всяком случае, мы расстались бы через несколько недель. А мне ведь пора обзаводиться семьей».

Стейн опять помахал трубкой, а «Девочки Данна» топнули ножками и засвистели в свистки.

Помню, как мы на вокзале

Нашу тетушку встречали,

Фью, фью, фью!

— Не возвращайтесь к ней. Оставайтесь со мной, — сказал Майетт.

Подошел экспресс Стамбульский.

Нам навстречу шляпки, блузки,

Фью, фью, фью!

Она кивнула головой, и руки их соединились. «Интересно, контракт уже в кармане у Стейна?» — подумал Майетт.

Примечания

1

Еврей, еврей

(фр.)

2

Вот видите

(фр.)

3

Лондонскую «Таймс». Что это такое? Ничего нет? «Матэн» и «Дейли Мейл». Хорошо.
Спасибо

(фр.)

4

Сколько это стоит? Три франка. Подумать только!

(фр.)

5

«Жизнь»

(фр.)

6

Первая смена, первая смена

(фр.)

7

Кофе с молоком

(нем.)

8

Добрый вечер

(нем.)

9

На помощь! На помощь!

(нем.)

10

Полиция

(нем.)

11

Билет, пожалуйста

(нем.)

12

Добрый день

(ломаный фр.)

13

Я не говорю по-английски

(нем.)

14

Ресторан, почта, справочное бюро

(искаж. эсперанто)

15

Театры и кабаре

(искаж. эсперанто)

16

Я не говорю по-английски

(нем.)

17

Воды

(нем.)

18

Англичанин?

(нем.)